

БИБЛИОТЕЧКА

№ 6 (378)

СТАРЫЙ КОРТИК

БИБЛИОТЕЧКА «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» № 6(378)

СТАРЫЙ КОРТИК

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
МОСКВА — 1977

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор **В. Возовиков**

Художник **А. Панин**

Художественный редактор **А. Сергеев**

Технический редактор **Г. Алавина**

Г-93167. Сдано в набор 4.5.77 г. Подписано к печати 25.5.77 г.
Бумага 84×108 1/32 = 2 1/2 п. л. — 4,2 усл. п. л. Цена 10 коп. Зак. 2493

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

СЕРГЕЙ БЫСТРОВ



ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Широко расставив ноги, отец рубил ель. Голубоватая щепа сухостоя далеко разлеталась в стороны.

Петр Иванович смотрел на отца. Как он был привычен и знаком! Казалось, не много лет назад, а вчера сын ездил с ним за дровами. Те же серые с отворотами валенки, тот же ватник и красная, задубелая шея.

Дерево медленно уступало топору. Вздрагивали неживые ветки, отскакивала кора, сыпалась снежная пыль. В окружившем сухую ель березняке гулко отдавались удары. И, казалось, молодые березы притихли, испуганно замерли.

— А ну, командир, подмени! — отец тяжело садился на сани и наружной стороной шапки вытирал лысину. — Поди отвык от физического труда, все матросы за тебя работают? — старик лукаво сощурился.

Взмах, еще, еще. За ворот сыпался иней. Ствол словно отклонялся. Петр Иванович, промахиваясь, забирал выше.

— Не порти, — указывал отец. — Бери ровней.

И Банников снова взмахивал топором. С непривычки ныли руки, в снегу плавали желтые круги. Но Петр Иванович еще злее опускал топор. Вот уж действительно отвык от простого физического труда. От того, что бывает до мозолей, до боли в спине. Но не до боли в голове, как случается нередко в его корабельной командирской работе.

Он никогда не позволил бы себе плохо подумать о ней. Ибо

любил ее, уверенно шел к ней через всю службу... Что же теперь случилось?

Он вернулся из последнего похода поседевший больше, чем за предыдущие три командирских года. Все недели плавания ему не везло. На погоду, на задачи, на «противника». Но больше всего — на собственные решения. Банников чувствовал, будто теряет свою прежнюю командирскую озаренность, прочность, уверенность. И со страхом подумал: «Все, отплавал, выбрал отпущенную меру...»

— Ничего, не отвык, — отец подменил Петра Ивановича, когда у того уже ноги сгибались от утомления.

— А вообще-то, пожадничал. Недаром говорят, руби дерево по себе. Такую ель топором трудно взять.

Старик энергично, с выдохом «кланялся» сухостою. И тот сдался, покачнулся. Отец бросил топор, навалился плечом. Ель пошла, затрещала.

«Вот ведь здоров, — думал, помогая отцу, сын. — В седьмом десятке дрейфует. Будет ли у меня так?»

Потом они увязывали дрова на сани. Небольшие, самодельные. В лес с ними, и когда еще лошадь была, почти не ходили. Лошадь у лесника Банникова давно забрали. Дали мопед, пилу «Дружба», для работ присылали из лесничества трактор. К такой перемене отец привыкал несколько лет. Привык. Сейчас даже нравится: успевает за лето все необходимые заготовки сделать. И поэтому здорово удивился Банников-старший, когда сын предложил ему сходить за дровами.

— Куда ж мне дрова? Аль не видишь — на два года заготовлено?

— Вижу, а сходил бы с удовольствием. Лет десять топором не стучал.

— Ну, коли так, пойдем, — согласился отец. — Мешать не буду, — и он стал по-деловому собираться, сам довольный подвернувшейся работой.

— И чего вы надумали? Чего надумали-то? — вмешалась мать. — Сынок, неужто не наработался ты на Севере? Отдыхай, силы копи.

— Больно ты понимаешь, Павла, — остановил ее отец, снимая с печки рукавицы себе и сыну. — Может, для него такой отдых и есть самый лучший.

...Сани скрипели под тяжестью чурбаков. Петр Иванович, вспомнив прежнюю сноровку, старался половчее помогать отцу. И когда все было кончено, чувствуя, как липнет к спине рубаха, сел на увязанные дрова.

— Ну, что, отец, отдохнем?

Старик сел рядом.

Стало тихо и одиноко. Белые стволы берез обступали их вокруг безбоязненно, как доверчивое стадо обступает пастухов. Белые волны сугробов матовели под белесым облачным небом.

И казалось, березы переступают с ноги на ногу в этой бесконечной белизне.

Петр Иванович снял шапку. От нее шел пар.

— Не балуй, — предупредил отец.

Лицо его было близко. И вдруг, такое знакомое, оно показалось Петру Ивановичу непривычным. Он всегда живо представлял глаза матери и почти ощущал их выгоревшую прозрачность, глубокие, теплые зрачки. У матери они были разные: маленький левый и побольше — правый. На нижнем веке — еле заметная родинка, будто соринка попала в глаз.

А глаза отца... Сын никогда не всматривался в них. Чаще всего они были строгими, даже суровыми. Маленькие, зеленоватые, с острыми зрачками. За ними прятался не до конца понятый, но крепкий человек, знающий свою линию в жизни.

Они часто бывали с отцом вместе, особенно в работе. Но каждый, казалось, сам по себе. Что-то стояло между ними, мешало сблизиться. А потом стало ясно: их схожесть. И все-таки сын всегда чувствовал в себе отца.

Как-то, еще в раннем детстве, Петя возвращался с отцом из леса. Тоже везли дрова. Даже на этих же санях. Запоздали. Уже встала луна. И посветлело. Деревья разбросали от себя тени. Расплывчатые, фиолетовые. Казалось, они двигались рядом по дороге. Пете было страшно. Он съежился и неслышно семенил за санями, вздрагивая от каждого скрипа полозьев.

Вдруг, ломая ветки, на дорогу выпрыгнул кто-то большой, черный. Все стихло. Только в виске тоненько стучала горячая жилка.

Впереди, повернув к людям огромную голову, стоял какой-то крупный зверь.

Отец весь подобрался, сжал топорище.

Зверь прыгнул и скрылся в еловнике.

Отец, подхватив веревку, зашагал дальше. Он не оглянулся, ничего не сказал. Но Пете перестало быть страшно. Он снова и снова видел руку, сжавшую топор, и спину, закрывшую его собой. Эта спина стала для Пети новым открытием в мире. Мальчишеский ум сразу возвел ее в ранг идеала — закрывающую собой спину.

...Они сидели рядом и вроде порознь. Петр Иванович чувствовал постепенно подбирающийся холод. Ему казалось, что должны они с отцом поговорить. Но мог ли старик догадываться о переживаниях сына, о том, что его Петька, всегда крепкий, сильный, вдруг почувствовал усталость. Это в сорок-то лет. Может быть, он действительно уже давно «рубит дерево не по себе»? А только сейчас это проявилось? Впервые на разборе он краснел за себя. Впервые на его ошибках учили других командиров. Когда-то, после первого самостоятельного похода, Банников решил, что он все испытания выдержал. Но, оказывается, главное его поджидало: он быстро выдохся.

— Солнце садится. Пойдем? — спросил отец.

— Идем, — согласился Петр Иванович.

Но идти не хотелось. Будто остается в этом ясном, светлом лесу что-то важное, но так и не понятое. И случится ли еще раз побывать Банникову в лесу, как сегодня? В отцовском лесу.

Он отправил семью на юг, куда обычно ездили все вместе. И жена удивительно легко согласилась. Наверное, что-то почувствовала, поняла. А ведь он оставался во всем для всех прежний. Не мог же он, не мог никому сказать, что с ним происходит. Со стороны здесь не поможешь. Здесь надо самому.

В последнем походе ему часто снился родительский дом. Банников не был в нем давно. На той самой земле, которая всегда жила в нем и вдруг сильно, настойчиво потянула.

Может быть, так случается, когда человек действительно устал, если не тело, а душа требует обновления. Тогда тянет туда, где все человеку мило и любо, где все соприкасается с ним без сопротивления. И небо. И земля. И поворот дороги. И запах сеней. И голос матери. Надо возвращаться в дом — твой первый, неповторимый, единственный. Из которого ты ступил в жизнь. Особенно, если крупно, далеко ступил...

Отец по привычке взялся за веревку.

— Э, нет. Пора нам с тобой поменяться, — посторонил отца Банников. — Что же, я не сдал на самостоятельное управление санями?

Иван Сергеевич усмехнулся:

— А чего ими управлять-то? Атомным кораблем управляешь. Только к чему привыкнешь...

После морозов наст хорошо держал сани. Отец перестал подталкивать и шел сзади, опираясь на кол.

Где-то за облаками солнце набухало, становилось тяжелее и все быстрее валилось за горизонт.

— Может быть, не пойдем на дорогу? — предложил Петр Иванович. — Чтобы покороче. Река-то замерзла?

— Должна замерзнуть, — согласился старик. — Только у камней навряд, а нам через них сподручнее всего.

Река действительно замерзла. Далеко вверху, за порогами, лед был крепок и с большим снегом. Но у камней, как и предполагал лесник, настоящей надежности не было: на порогах бесшумно и густо бурлила вода.

Петр Иванович бросил веревку и пошел по льду над камнями. Временами останавливался, притопывал ногой.

— Выдержит!

— Не думаю, — возразил отец, — надо взять повыше.

Но Банников уже потянул сани за собой.

— Осторожней, осторожней! — крикнул отец.

И тут же лед хрустнул. Петр Иванович прыгнул вперед. Веревка удержала. Он поскользнулся...

Еще на курсантской практике Петр Банников испробовал ле-

дяной воды. На большой глубине пробило сальник, и, словно ледяная шпага, пронзила бок подводной лодки тугая струя. Банников первым бросился закрывать отверстие.

Был момент яростный и страшный. Тогда у курсанта Банникова впервые пробудилось ощущение, что кого-то он закрывает спиной. А сейчас... Какая глупая случайность с ним, капитаном 1 ранга...

«Берегись!» — услышал Банников голос отца. Он мигом оглянулся: совсем рядом, чуть не задев его, пронеслись по воде сани с дровами. Застучали, запрыгали на камнях, рассыпались.

На миг Банников представил, как мог бы вместе с санями лететь по порогам и сам. Но этого же не случилось. И не случится: под ногами у него земля. Как вовремя она оказалась здесь, под ногами.

Держась за протянутый отцом кол, Банников выбрался на крепкий лед.

Отец скинул ватник, сбросил свои валенки, оставшись в теплых носках.

— Раздевайся!

Одежда быстро затвердевала и трещала при каждом движении.

— Пошли, — сказал Петр Иванович. — Оставил я тебя без саней и без дров.

— А все твое упрямство, — несердито сказал отец. — Всю жизнь ты такой.

— Вот это точно, — согласился Банников.

Шли быстро, разговаривали, будто ничего не случилось. Отец рассказывал о своем лесе, и Банников с удовольствием слушал.

— Берегу я его, лес-то. Вроде как жизнь свою. А может, и больше...

Банников представил бело-голубой березняк, доверчиво обступивший их с отцом. «А ведь я его тоже берегу, — просто подумал Банников. — И разве можно устать это делать... Хорошие у нас с батей профессии».

У крыльца оба остановились, соображая, как бы не напугать мать. Но она, конечно, испугалась. Молча, иногда всхлипывая, помогала раздеваться отцу с сыном.

...Горела растертая грудь, спину пригревали кирпичи русской печки. От чая с малиной было тепло и внутри. О чем-то ворчала, возясь с горшками, мать. Видимо, бранилась на спящего отца. Это она всегда бранится, когда он не слышит. Петр Иванович разбирал отдельные слова: «Лысый дьявол... Сына мог сгубить...»

Нет, сегодня он рисковал только собой. Конечно, все произошло нечаянно и глупо. Но как все проходит легко, если отвечаешь только за самого себя.

...Петр Иванович проснулся от слов адмирала:

«Вы мальчишка или командир атомной подводной лодки?

Вы знаете, что значит каждый из вас для государства?»

— Фу ты, черт, — Банников облегченно вытер испарину. — И во сне начальство воспитывает.

И снова вспомнил Банников разбор своего последнего похода. Но как-то по-другому, проще. Конечно, поход был сложный. Учебную задачу выполнили, но какой ценой... Так что ругали за дело. А он привык только к похвалам. И ругали-то, честно говоря, сдержанно. А он уж готов был поставить на себе крест!..

Тишина в доме давила на уши. Она начиналась снаружи: в зимнем лесу, в крепчавшем морозе. Казалось, мир замер. Но нет. Петр Иванович услышал звуки. Размеренные, привычные, монотонные: часы. Он их даже рассмотрел на противоположной стене в притушенном свете керосиновой лампы. Старенькие, деревенские, с гирей и добавленным к ней замком.

Как ясно думалось в такую тишину. Петр Иванович начал по-новому вспоминать «тупиковые» ситуации плавания, но теперь они совсем не казались ему такими. Банников даже нетерпеливо повернулся на бок. И сразу захотелось на лодку.

Рядом повернулся отец. Тоже не спит.

Иван Сергеевич привстал на локте, подбил под спину подушку.

— Ну что, потянуло? — тихо спросил старик.

— Что потянуло? — помедлив, ответил Банников.

— Что, что! Известно, что вашего брата тянет.

— Ну, раз догадался, чего спрашиваешь?

— Не догадался, а понял, — спокойно исправил отец.

Иван Сергеевич замолчал. И снова отчетливо застучали часы.

— Хотел я еще в лесу с тобой поговорить. Хорошо сделал, что к нам приехал. Только в твоем возрасте это не от случая. А потому, как любому человеку, даже командиру, нужен иногда маленький ремонт. Снутри. Душу, значит, успокоить. Это только ты так решил, что, кроме моря, тебе ничего не надо. А земля, она очень многое значит,

Так-так, так-так. — металлически скрежетали часы.

«Да, значит, — согласился Банников, — очень значит». И не только для того, чтобы завести швартовы, пополнить запасы, слегка передохнуть. Но чтобы постоять на ней. Наглядеться на нее, надышаться и взять новых, внутренних сил. И еще раз, без суеты, задуматься, оценить, что же ты делаешь в своей трудной жизни, что отмеряют твои часы.

Заснули они поздно. И последняя ясная мысль Петра Ивановича была о том, что он, капитан 1 ранга Банников, преодолел еще одну трудность в своей жизни. Преодолел — и снова вперед.

А потом снился Петру Ивановичу корабль, снилось море. С ним так бывало и раньше. Море все-таки никогда не расставалось с ним. Даже на земле.

АЛЕКСАНДР ИВИН



ТАКАЯ МУЗЫКА

— Лейтенанта Сухачева к телефону! — гулко раскатывается голос дневального под сводами казарменного коридора. Дневалит сегодня рядовой Федоров, невысокий паренек с острыми, прямо-таки орлиными глазами. При моем приближении он «ест начальство» этими глазищами и многозначительным жестом протягивает мне трубку. Рядового Федорова многие солдаты побаиваются за острый язычок и поразительное проникновение в чужие мысли.

Беру трубку и вопросительно смотрю на солдата. Он пожимает плечами, вскидывает брови. Значит, что-то особенное? Называюсь строго официально.

— Витя, здравствуй!.. — Этот голос я готов слушать бесконечно, но только в неслужебное время. Оксана... Когда я сообщал ей служебный телефон, просил звонить лишь по делам общественным.

— Здравствуйте, — отвечаю вежливо и сухо.

— Ты сердишься? — разочаровывается Оксана.

Что ей ответить? Что один из моих подчиненных, хитрюга и насмешник к тому же, стоит рядом и, кажется, прислушивается даже своими глазищами.

— Что случилось? — пытаюсь укоротить разговор.

— Ничего не горит и не рушится, — прохладно отвечает Оксана и, помолчав, добавляет:

— Мы получили запись Четвертой Симфонии Шостаковича, — сказано было именно так, все слова с большой буквы. — Я думала, тебе интересно послушать. — И хитреньким голоском зажурчала: — Будешь вторым слушателем в городе. А твой взвод — может быть третьим... Это же Му-узыка!..

Да, тут, пожалуй, вопрос общественный.

Еще полгода назад такое приглашение показалось бы немыслимым. В свободные от службы часы всю музыку мира я готов был променять на свист ветра в ушах и мощный рокот мотоцикла. Но именно полгода назад тот же самый рядовой Федоров передал мне приказание — прибыть к заместителю командира по политчасти. Майор Григорьев обстоятельно расспросил о планах и увлечениях, а под конец беседы неожиданно огорошил: «Не возьметесь ли вы, Сухачев, провести беседу о музыке?»

О новейших машинах — пожалуйста — я готов! А музыка... Это уже «опасная езда»! Так и сказал политработнику.

Идею с машинами он одобрил, но отложил на время, поскольку такую беседу, оказывается, уже готовил один из моих коллег-лейтенантов. Майор попросил подумать и зайти к нему через два дня, вечерком. На прощание хитро улыбнулся:

— По-моему, у вас получится. Вы человек музыкальный... А нужда у нас в такой беседе давно назрела. Гляньте, сколько владельцев транзисторов развелось, и каждому подай лишь то, что погромче.

Замечание майора о моих музыкальных данных, конечно, польстило самолюбию, и все же решил отказаться.

Через два дня я стоял перед дверью квартиры Григорьева в парадно-выходной форме одежды с «железным аргументом» в кармане: два билета в кино — девушка, мол, ждет, недосуг музыкой заниматься.

Дверь открыл сам Григорьев. Он был в спортивном костюме и домашних тапочках. Даже лицо непривычное, домашнее какое-то.

— Пришел все же, — улыбнулся он. — Молодец, люблю решительных. Проходите.

Я растерянно сунул руку в карман, пошелестел «аргументом», но аргумент вдруг потерял вес в моем представлении от этого «домашнего» голоса майора, тем более что никакой ждущей девушки в действительности не существовало.

— Проходите, пожалуйста, — повторил Григорьев. — Некого стесняться: жена с дочкой временно эвакуировались в деревню. Проходите...

Осмотрелся я не сразу—из-за книг. Такого количества их в одной комнате я еще не видел. Потом внимание мое приковала раковина, огромная, плоская, как блюдо, с причудливо изогну-

тыми краями; она покоилась на массивной полированной подставке из какого-то плотного черного материала и под светом настольной лампы мерцала искрами, переливалась жемчужной радугой. На дне раковины таилась призрачная лужица бело-голубого сияния. Стоило только немного наклонить голову, и «лужица» оживала, шевелилась, текла по перламутровому ложу, меняя оттенки, вспыхивая морозными искрами. Мне казалось при этом — я слышу странное пение.

— Откуда? — не зная, как правильно назвать эту волшебную вещь, спросил я.

— Из Индийского океана. Один мой бывший подчиненный после службы в торговый флот определился. Его подарок. Когда-то я открыл у него хороший голос, но это между прочим... Сейчас мы выпьем чаю и кое-что послушаем.

Я поглядываю на часы: вот-вот фильм начнется... Ну что же, теперь все равно опоздал.

— Вижу, — наконец сказал Григорьев, — вопрос мучит вас: почему лейтенанту Сухачеву, по уши влюбленному в моторы и скорость, вдруг предложили заняться музыкой? Так ведь?

Я лишь кивнул.

— Почему? — Григорьев отставил чай, серьезно сказал: — Большой российский музыкант Александр Николаевич Серов говорил, что музыка способна дорисовывать воображению многое, слову уже недоступное. Вот и надо, чтобы и наши люди умели в хорошей, большой музыке чувствовать это самое то, что слову недоступно.

— Для этого талант нужен или хотя бы образование.

— Талант хорошо бы, — улыбнулся Григорьев. — Но тут уж все от природы. А вот музыкальные познания... Их может получить каждый. И не обязательно консерваторию кончать.

— Но почему именно я?

— Да, почему именно лейтенант Сухачев? — снова хитроватая улыбка на лице Григорьева. — А у кого самый громкий магнитофон в городке?.. И, признаюсь, очень люблю я открывать в людях способности, о которых они сами не подозревают. Вот тезка ваш лейтенант Фомин раньше только стихами и бредил, да не получались они у него. Однако вижу: есть у человека творческая жилка. Привлекли мы его к рационализаторской работе. Теперь он на доске лучших рационализаторов в Доме офицеров красуется. И стихи, между прочим, у него лучше получаются. Офицеру ограниченность особенно противопоказана. Скучно с ним людям придется, а это последнее дело в нашем положении. Так что я подобрал вам несколько книг о музыке... На всякий случай. Если не заинтересует — что ж, навязывать не буду. Только прочтите внимательно.

Потом мы слушали музыку. Григорьев перед каждой пластинкой давал пояснения. Вот так — один на один — мне о музыке никто не рассказывал. Разумеется, я и раньше слушал,

были и у меня любимые популярные песни, а за громкозвучие магнитофона меня не раз поругивали соседи. Так что музыка не только удовольствие приносила.

А теперь вдруг словно что-то проснулось во мне, и долго потом помнился этот вечер: голос майора Григорьева, удивительные мелодии, таинственное мерцание «поющей» раковины — словно стоял перед неведомым, большим миром, в который хотелось войти.

Текст беседы я подготовил. Григорьев прочитал мое сочинение, сделал «некоторые замечания», после чего половину текста пришлось переписывать.

— Вот теперь можно и специалистам показать, — похвалил майор мои труды. — Советую вам, товарищ лейтенант, явиться на городское радио. Там есть редактор музыкальных передач Оксана Антоновна, вместе с моей женой работает. Она поможет и текст отшлифовать, и музыку подходящую подберет, а уговорите, так и беседу, я думаю, провести поможет.

И вот передо мной открылись двери фонотеки. Там-то, среди стеллажей и шкафов, я впервые увидел симпатичное существо в синих изящных брючках, с большущим «облаком» прически. Звали ее Оксана Нестеренко. Я молча отдал ей тетрадь, впервые в жизни пожалев, что почерк мой не из самых разборчивых. Девушка тут же принялась читать. Перелистав несколько страниц, подняла глаза и долго молча смотрела на меня. Глаза у нее были изумительные: цвета переспелой вишни (о таких на Украине говорят — «очи вышнэви»), но выражение в них было! У меня горели уши от этого взгляда.

Тогда я и услышал в первый раз:

— Это же Му-узыка!.. А у вас все боком, по стеночке, — она посмотрела на меня сочувственно, словно на больного. — Знаете, как о ней говорить надо?

Меня задело, захотелось даже одернуть эту девчонку, но ее глаза!

— ...Вы написали хорошие слова, и все же только слова. Если к вашей беседе подобрать фрагменты для сопровождения, получатся две разные музыки. Понимаете?

Потом совсем тихо добавила, словно боялась, что нас услышит кто-нибудь:

— Так нельзя. Нужно исправить кое-что в вашей лекции, и я помогу вам...

Злость моя вдруг испарилась, но кивнул я с холодком в душе, вспомнив «некоторые замечания» замполита.

— Зайдите через денек. Я еще раз внимательно прочту это...

Через денек я встретил ее у выхода из студии, напросился в провожатые, и моему красноречию в тот вечер мог позавидовать любой адвокат. Я защищал серьезную музыку неведомо от кого, то и дело, сам того не замечая, повторял слова майора Григорьева и целые страницы из подобранных книг. Наверное,

говорил я слишком торопливо, потому что молчавшая всю дорогу Оксана вдруг сказала с улыбкой:

— По-моему, у вас темперамент гонщика.

Нет, я не обиделся и даже признался, что у меня есть мотоцикл.

— А меня покатаете?

— Ну еще бы!..

«Лекцию» мы переписывали заново вместе с Оксаной и при активном участии ее мамы. Та очень переживала за меня и все советовала порепетировать выступление перед зеркалом. И музыки в этом доме я наслушался — другому на две жизни хватит. А мне, признаться, было мало. У них даже граммофон нашелся — специально для проигрывания старых пластинок. Мать Оксаны убеждала, что на этом стареньком агрегате они звучат задушевнее, чем на электронной технике. И, право, в тот вечер, слушая стереофонические записи музыкальных классиков, а потом лирическое шипение старого граммофона, я начинал понимать, насколько пустенькими были мои многозвучные магнитофонные записи. Теперь я знал, что буду говорить.

Оксана, хотя и не была на той беседе, сколько могла обеспечила успех моего выступления подбором записей. Все муки начала, когда язык становится непослушным, она переложила на Чайковского. Нужно было только выйти из-за кулис и нажать клавишу магнитофона, заранее установленного близ трибуны... Дальше был уже второй шаг, а он всегда легче. Когда после отрепетированной речи я в последний раз включил магнитофон и просторный зал клуба затопили могучие волны Второго концерта Рахманинова, почувствовал огромное облегчение и усталость. Ушел за кулисы и плюхнулся в подставленное рядовым Федоровым кресло, вспоминая одухотворенные лица солдат и друзей-лейтенантов, которые сидели в клубном зале в первом ряду. Федоров стоял передо мной, сиял своими орлиными глазищами, и поднятый им вверх большой палец торчал, как солдат на смотре...

Через день меня повстречал майор Григорьев.

— Вот, получай награду! — протянул он листок из тетради. Оказалось — заявка на музыку. Солдаты и сержанты четвертой роты просили передать по местной трансляции Первый фортепьянный концерт Чайковского полностью.

— В нынешнем году это первая заявка на симфоническую музыку, — добавил майор с улыбкой. — Поздравляю...

И вот теперь снова звучит в моих ушах: «Это же Му-узыка!..» Ну, как тут было не отозваться! Прикрыв трубку ладонью, я строго покашлял, сурово глянул в нарочито замкнутое лицо Федорова, официально сказал:

— Хорошо. Раз это полезно для дела, буду вечером.

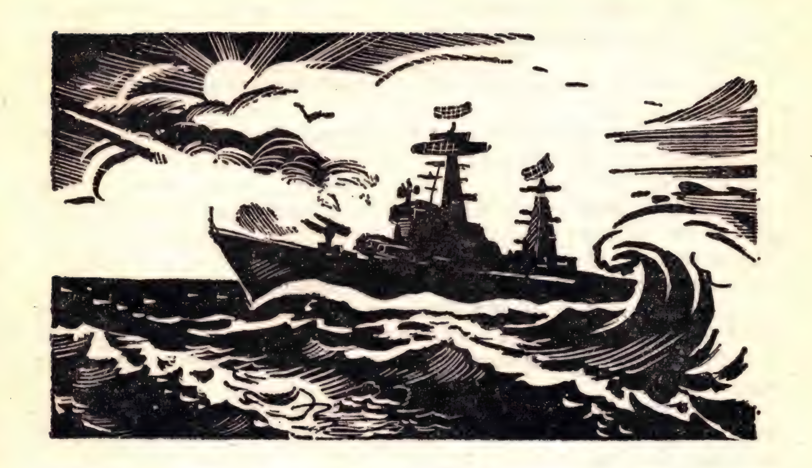
— Только обязательно на мотоцикле! — Я слышал, что Оксана улыбается...

* * *

На мотоцикле мы с Оксаной катаемся часто. На шоссе она всегда прячется от встречного ветра, приникает к моему плечу, и я ощущаю тепло ее щеки. Что я при этом чувствую, можно, наверное, написать лишь нотами, но я пока лишь овладеваю нотной грамотой.

Если же Оксана смотрит на меня своими «вишневыми очами», у меня, как во сне, начинает кружиться голова. И хорошо, что, управляя мотоциклом, я не вижу ее глаз.

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ



СТАРЫЙ КОРТИК

Мне снилось море! Оно было непроницаемо-серое, без берегов, и по нему бесшумно скользил корабль. На мостике стоял я — в строгой черной форме... Потом все словно отдалилось и я видел мостик уже со стороны. А высокий кавторанг отдавал с мостика команды голосом соседа — известного артиста. И тут я проснулся...

В воскресенье можно валяться до обеда, однако сон уходит с первым лучом солнца, пробившимся сквозь ветки прямо в глаза. За окном крики детей — для них день уже в полном разгаре. Ленивая дрема мешает подняться. Отец потащил бы сейчас на зарядку, но у них с мамой сегодня дела — смена на заводе, дежурство в больнице.

Коробка с отцовскими медалями открыта — вчера мне захотелось еще раз подержать их в руках. Металл плотно ложится на зеленое одеяло, сверкают позолота и серебро, искрятся эмалевые грани звезд, выцветшие ленты четко выделяются на полотне одеяла, как когда-то на ткани гимнастерки.

В альбоме есть фото: танк с крестом на боку и свернутой шеей орудия, ступени и колонны замка, трое обнявшихся солдат. У них измученные лица и счастливые глаза. Надпись: «Шве-

рин — 45 — 14 мая». Значит, отцу на этом фото ровно восемнадцать...

— Встаешь, Сергей? — заглянула в комнату бабушка. — А то бы понежился, пока дома-то. Старшина небось жалеть не будет.

— Бабунь, а ведь ты у меня самый первый старшина.

— Сравнил!..

У бабушки в гостях соседка Юлия Семеновна. Одеваясь, ловлю обрывки разговора:

— Так мы остались в Ленинграде... У мужа от голода обострилось дело с легкими, и малыш был очень слаб. Спасибо матросам, которые нашли его, — сухарей немного оставили... Выжили мы с Сережей, а муж... Он ведь о нас больше заботился... Сказки я Сереже в блокадные вечера читала...

Заметив меня, Юлия Семеновна умолкает. Она сидит у краешка стола, в руках у нее чашка кофе и кусочек торта; они с бабушкой олицетворяют для меня мудрый покой преклонных лет.

С улицы донесся свист — «позывные» друга. Когда я вышел, Андрей уже настроил гитару и задумчиво подбирал минорные аккорды.

— Как думаешь, не взять ли эту красавицу в армию?

— Там же есть самодеятельность, инструменты будут.

— Те из клуба не вынесешь, а она всегда со мной, боевая подруга, — улыбнулся он, ласково поглаживая гриф.

Мы заговорились.

— Как дела, мальчики? — раздалось у нас за спиной.

Мы резко повернулись, взвизгнула струна, и в воздухе повис ее жалобный стон. На дорожке перед нами стояла маленькая Юлия Семеновна.

— Вы очень некрасиво сидели, парни, на спинке скамьи, тылом ко всем. Надо бы преподать вам правила хорошего тона.

— Сами научимся,— бросил Андрей и рванул лихой аккорд.

— А я слепота несчастная вначале тебя не узнала,— тонко улыбнулась Юлия Семеновна.— Решила, что Сережа сидит с девушкой. Очень у тебя локоны хорошие — барышня позавидует.

И она неторопливо отошла к подъезду, неся свою вечную авоську с булочками-малышками, кефиром и творогом.

— Ох, и любит мораль читать,— досадливо поморщился Андрей.— А ты-то чего подстригся? Торопишься.

Волосы до плеч ему идут, он здорово смотрится на сцене. Наши с ним песни под гитару были гвоздем школьных вечеров. Но не расскажешь ведь, что случилось на самом деле,— засмеет. Усатый Егорыч, мастер, в первый же мой день на заводе коротко заметил: «Косынкой хоть повяжись, в таком виде к

станкам не подпущу. Захватит — беды не оберешься». Отец тогда прыснул, как мальчишка. Ну и пришлось топать в ближайшую цирюльню.

— А знаешь,— увожу разговор в сторону,— она блокаду в Ленинграде пережила.

— Ну?

Андрей хотел еще что-то сказать, но засмотрелся на машину, которая упруго подкатила и замерла, пружинно качнувшись. Вышел, держа букет, кумир Андрея и знаменитость нашего дома артист Павловский.

— Как дела? — спросил на ходу.

— Порядок.

— Скоро?

— Еще месяц.

— Украсьте свои мундиры, — Павловский отделил от букета две гвоздики.— Что с училищем?

— Мимо,— сказал Андрей.

— Ну, не вешать носы. Через два года приходи в нашу студию, Андрюша. Обязательно!

— Придем вместе,— отозвался Андрей.

Я промолчал: знал, что не приду.

Павловский заспешил к подъезду, поклонившись Юлии Семеновне и галантно пропустив ее вперед...

Повестки мы получили накануне. Белые листки плотной бумаги, похожие, как бойцы в строю, и даже заполненные одним почерком. Только фамилии значатся разные. А до этого был штурм театрального училища и первая осечка. Признаться честно, я и не мечтал прославиться на сцене, не верил в свои актерские данные, но Андрей так доказывал, что у меня и голос, и талант. К тому же каждый день видишь знаменитого артиста, чья жизнь — блистательный фейерверк, чье лицо улыбается с афишных тумб и журнальных обложек, с теле- и киноэкранов!

Андрей решил поступать «до победы», кроме сцены, ни о чем не хотел думать. Я помалкивал, а он бесился. Провал на вступительных был как холодный душ, я остывал и успокаивался, постепенно понимая, что взялся не за свое дело. Андрей не хотел этому верить, он боялся, что, если расходятся пути, кончается и дружба.

После краха на экзамене не хотелось идти домой. Медленно и сосредоточенно считая ступеньки, добрел до второго этажа и непонятно зачем позвонил у двери Юлии Семеновны. Она сразу обо всем догадалась, засуетилась и бросилась готовить какой-то необыкновенный кофе. А мне хотелось просто укрыться на время среди простых и уютных вещей в ее маленькой квартире, прийти в себя после отчаянной гонки и суматохи.

Бубнил что-то поцарапанный приемник. На улице погромы-

хивали трамваи. Стоял старенький платяной шкаф, никелированная кровать с подзором и кружевными накидками. Голубые обои, репродукция Шишкина в простенке...

Один предмет притягивал и задерживал взгляд — небольшая фотография на стене. Гарнизонный фотограф без премудростей запечатлел во весь рост молодого морского офицера в полном блеске парадной формы. Нравилось мне его лицо. Строгое и твердое, тонкие усики над губой, а глаза чуть улыбаются и смотрят вдаль. Такого капитана играл в кино артист Павловский; таким я представлял настоящих моряков! Под портретом висел кортик в истертых ножнах с тусклыми накладками желтого металла. Я не раз порывался надраить позолоту и покрыть ножны черной нитроэмалью — честно говоря, хотелось подержать кортик в руках.

Но какое отношение имеет моряк и офицерское оружие к Юлии Семеновне? Сходства у моряка с нею нет. Я не раз спрашивал, кто это. Она улыбалась и отвечала всегда одинаково:

— Это мой капитан Немо.

Лет в двенадцать, когда я уже прочитал Жюля Верна, ее слова казались еще таинственнее. А потом стал думать, что этот офицер на особой службе, о которой нельзя никому знать. И даже когда моя бабушка сказала, что офицер — приемный сын соседки, моряк, и снимок, и кортик еще сильнее дразнили мое воображение.

Я смотрел в который раз на фото и вдруг представил, что сам стою на берегу, а соленый ветер накатывает тяжелые валы к моим ногам. Эх, было бы здорово — уплыть к едва уловимой линии горизонта и глянуть оттуда на далекую землю! Именно в тот день я впервые очень ясно почувствовал это. И раньше, конечно, желание возникало иногда, но было оно по-детски наивным и смутным. Теперь оно стало таким осязаемым и четким, что даже сдавило сердце — ошибиться второй раз было уже страшно.

Ведь я никогда не видел моря!

На тумбочке лежала открытка. Меня притягивал сильный и уверенный почерк. И хотя уже запахло кофе и Юлия Семеновна вот-вот появится, я шагнул к тумбочке.

— Прочти,— услышал за спиной голос хозяйки.— Теперь ты взрослый, все поймешь...

«...Родная мама Юся! — бежали перед глазами строчки. — Еще не скоро представится возможность повидаться с тобой. Утром уходим за тридевять земель, в тридевятое царство. Был в Ленинграде. Допоздна бродил по городу, вокруг того места, где до войны стоял наш дом. Бегут машины, смеются люди, а мне все видятся черные развалины... И вкус матросских сухарей, такой удивительный, как сама жизнь... А вокруг смеются люди, бегут машины. И это иногда кажется счастливым концом сказки, которую ты не раз читала мне.

Все хорошо, родная моя! Не беспокойся за меня. Знаешь, у нас не хуже, чем у капитана Немо в его «Наутилусе»...

Дальше шли слова прощания.

Я прочитал еще раз: сами собой повторялись простые и ласковые слова...

Вот тогда-то после провала на экзаменах, после посещения Юлии Семеновны, за месяц до призыва в армию, мне впервые приснилось море, которого я никогда до тех пор не видел.

Как пролетел тот месяц, мы с Андреем даже не заметили. Внезапно все отступило на второй план и стало прошлым — наш двор, завод и мастер Петр Егорыч, мальчишки и девчонки. Все таяло в темноте вместе с теплыми огнями города. Я лежал на верхней полке, ощущая бритой головой ветерок из оконной щели, а где-то в таком же вагоне ехал Андрей в обнимку с «боевой подругой» — гитарой в сшитом специально для нее походном чехле...

Море...

Оно вовсе не такое, каким являлось во сне, и не похоже на то, которое на открытках. Ласковое и улыбчивое в солнечных блестках; яростное в шеренгах черных волн с султанами пены; поздней осенью часто непроницаемо-мрачное в проседи нависшего тумана... Оно живое! Его нужно слушать, понимать и любить.

Ракетоносец слился со свинцовой водой, серым небом Балтики, замер в напряжении страшной мощи, укрытой за сталью бортов.

Море — это очень трудно... Я не считал потов, пролитых за день. Привыкающие к металлу пальцы сами становятся стальными. В каждой жиле чувствую тяжесть, пришедшую в работе. Есть минута — бросаю взгляд на дугу горизонта, где срослись вода и небо. Должен, должен увидеть берег оттуда! И это будет последняя проверка. Это то, зачем я пришел сюда,— выверить, испытать себя. В самые трудные первые дни вместе с усталостью приходит уверенность: кажется, на этот раз осечки не будет!

Перед первым походом на корабль приехал писатель. В строгом костюме, лысоватый и уже в годах, но подтянутый и решительный. Понравилась ребятам точность его слов и движений, которая отличает людей с военной закваской. Осмотрел корабль, похвалил борщ, а потом начал рассказывать о войне, о боевых друзьях, о рейдах своей подлодки, о долге и героизме, достал газету с Указом о награждении матросов и офицеров:

— А это уже герои нашего времени. Расскажу вам о командире, которому присвоено звание героя...

Мы слушали историю о том, как на окраине блокадного Ленинграда, в разбитом доме, уходящие в бой матросы нашли

умирающего ребенка и передали первой встреченной женщине. И она вырастила его как сына, вырастила капитана первого ранга Сергея Петровича Васильева... Где же я это слышал: блокада, голод, спасенный ребенок и пригоршня матросских сухарей?.. Я пробился поближе, расталкивая ребят, и посмотрел на фотографию, которую показывал наш гость.

— Капитан Немо?!

— Ты знаешь? — писатель удивленно поднял голову.

— Юлия Семеновна так его называет.

— Это друзья придумали — «капитан Немо». В самую точку... Я не назвал имени той женщины, Юлии Семеновны. Она живет сейчас в Москве, давно на пенсии. Васильев иначе как мамой ее не называет и говорит, что всем лучшим обязан ей.

Прощаясь, гость протянул руку:

— Ну, семь футов под килем!

Потом был поход. Тонкая полоска земли утонула за горизонтом, и море окружило нас.

В форме курсанта высшего военно-морского училища я пробираюсь в вокзальной сутолоке, губы сами собой растягиваются в улыбке. Дома!.. Непонятно покалывает сердце, не больно, а так... Обнимаются ветвями деревья в нашем дворе, играют малыши, и звонкие голоса перебивают неумолчный птичий галдеж.

Я забежал к ней в первый же день. Она заставила покрасоваться в новенькой форме, радостно расспрашивала о службе. о товарищах. Сняла со стены старый кортик:

— У моего Сережи выбор не случайным был... Там, в разбитой квартире, где его нашли матросы, был этот кортик...

Она провела рукой по тусклому металлу, и кортик вдруг сверкнул в луче солнца.

— Я очень рада за тебя,— просто сказала Юлия Семеновна и протянула мне кортик.— Береги его.

Во дворе, у самого подъезда, дорогу преградила черная «Волга». В окружении приятелей, с необъятным букетом вышел Павловский и ослепил своей киноулыбкой, протягивая алые розы:

— С прибытием в родные пенаты!

Он доверительно обнял меня за плечи и, словно продолжая давний разговор, спросил:

— Что скажешь теперь юноша, обдумывающий житье? Нашел, с кого делать жизнь?

— Нашел.

В ту же секунду я поймал его оживший взгляд:

— Поздравляю! Правильно определить курс — это уже кое-что!

НИКОЛАЙ ШАХМАГОНОВ



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Тенистая лесная дорога кончилась, и машина остановилась на огромном заливном лугу, который простирался от леса до голубого лекала реки. Тяжелый, знойный воздух словно замер, не шевелился ни один стебелек. Трещали кузнечики, за рекой погромыхивало, словно кто-то пускал с гигантской лестницы порожние деревянные бочки.

Водитель заглушил мотор. Из кузова донеслись обрывки фраз. Во весь рост поднялся худенький стройный лейтенант с ясно-голубыми глазами. Мечтательно глядя вдаль, проговорил:

— Э-эх!.. Искупнуться...

— Не мешало бы, — отозвался его сосед, капитан, — только сейчас нас Быстрин и без того в своих вводных накупает... Да и она вон хорошенько добавит, — кивнул он на горизонт, где расползалась туча.

Отворилась с сухим щелчком дверь кабины, и руководитель занятия майор Быстрин ловко перекинул свое жилистое тело в кузов.

— Итак, — начал он ровным голосом, — попрошу вас, товарищи офицеры, произвести ориентирование и найти на карте точку своего стояния...

Офицеры зашуршали картами, а майор тем временем посмотрел на горизонт и слегка нахмурился: какая там работа

с картой, если с неба хлынет! Быстрин нетерпеливо оглядел подопечных, задержал взгляд на голубоглазом лейтенанте. «Ротные у нас через одного юнцы, их еще учить да учить моментальному соображению в боевой обстановке. Даже в элементарных вопросах»... Быстрин любил вот так, когда молодые офицеры погружены в свое дело, озадачивать их еще больше — неожиданной вводной. И если кто-то попадал впросак, майор не знал снисхождений. Сейчас пришла мысль испытать лейтенанта Матвеева.

Хотя оснований сомневаться в своих способностях лейтенант пока не давал, майор относился к молодому офицеру несколько настороженно, ибо никак не укладывалось в голове, что можно быть хорошим ротным, не прокомандовав и года взводом после окончания училища. Быстрину пришлось пять с половиной лет до назначения на роту взводным служить. И работал, как сейчас кажется, неплохо... Может быть, Матвееву просто повезло?..

Сумел лейтенант попасть на глаза «высокому начальству» на первых же своих войсковых учениях. Когда мотострелковый взвод Матвеева на боевых машинах пехоты раньше других, с ходу, форсировал водную преграду и, спешившись, умело отразил контратаку, командир дивизии оторвал от глаз бинокль и расспросил командира полка о взводном. Подполковник ответил, что это лейтенант Матвеев, Московское высшее общевойсковое училище окончил с отличием...

«Ну, из Московского они все со знаком качества, — пошутил генерал, довольный учениями. — А что, не пора ли этому Матвееву ротой командовать? Смотрите, как решительно действует! И не по шаблону».

Боевые машины взвода в тот момент уже преследовали «противника».

...Майор, почувствовав, что отвлекся, неожиданно сказал:

— Для атаки колонны усиленной роты, в роли командира которой вы все находитесь, заходят истребители-бомбардировщики.

Быстрин молча оглядел офицеров. Лейтенант Матвеев наморщил лоб, что-то соображая. Его сосед, капитан Корюков сидел в машине невозмутимо.

Матвееву вводная не казалась такой уж простой. Стоило прикинуть боевые возможности самолетов, чтобы понять: как ни растягивай на открытом лугу колонну, самолеты пройдут с головы до хвоста и лишат подразделение боеспособности.

— Действуйте, лейтенант Матвеев! — прервал паузу Быстрин.

Матвеев произнес положенное «есть!».

Ослепительно сверкнула молния, по небу раскатился оглушительный треск. Зажмурясь на миг, Матвеев представил: самолеты с вытянутыми осиными носами, взлетающие комья

рыжей земли, перемешанной с обожженными цветами и травой, дикую пляску пламени над обломками боевых машин. Молниеносно мелькали мысли:

«Действовать?.. Но как?.. Как сделать колонну неуязвимой?.. Увеличить дистанции и скорость? Но такое решение хорошо, когда местность пересеченная, а дорога не столь прямая и открытая, когда, наконец, другого выхода нет... А здесь — луг, целое поле, ровное, как строевой плац, и скорость снижать не нужно, чтобы разорвать прямую нить колонны, развернуть машины в линию... Пусть тогда заходят на каждую машину, а я колонну углом вперед построю да на фланги зенитные установки пошлю».

Андрей тряхнул головой, словно прогоняя последние сомнения:

— «Клен» — один!.. — два!.. — три! Я — «Клен»! К бою! — выпалил он.

Майор потер острый подбородок, нахмурился. Не одно занятие провел он на этой местности, но никто еще недодумывался действовать здесь при налете авиации подобным образом.

— Может, вы вопроса не поняли? — спросил сухо.

— Понял, товарищ майор.

— Доложите вы, капитан Корюков.

Сосед Андрея встал, сказал медленно, расставляя слова:

— «Клен» — один... — два... — три!.. — Я — «Клен»! Увеличить дистанцию и скорость. Продолжать выполнение задачи...

— Вот! — поднял указательный палец Быстрин. — Простое, привычное, ясное людям решение. Никакой заминки в колонне не будет. Отлично, Корюков, отлично... А вам, лейтенант, — двойка.

Завершив занятие, Быстрин покинул кузов. Снова заурчал двигатель, машина тронулась.

— Не огорчайся, Андрюха, — услышал лейтенант сочувствующий голос Корюкова. — Чего не бывает?! Ты на занятиях таких первый раз... А я уже все вводные наизусть выучил... И ты пересдашь двойку эту.

Некоторое время Андрей слушал молча, полуобернувшись к капитану. Затем обиженно возразил:

— Во-первых, я не огорчаюсь... Во-вторых, считаю свое решение правильным!

— Понапрасну ершишься. Чтобы роту в такой ситуации успеть развернуть, надо, чтобы она у тебя была, как игрушка, с полуслова команды выполняла. Быстрин это получше нас с тобой знает. Ты вот на практике попробуй, поймешь, чье решение надежнее: твое или мое.

— А я вот докажу, как надежней, — с досадой сказал Андрей. — Все равно докажу...

— Поглядим...

— А для чего нас на местность вывозят? — не слушал капитана Андрей. — Скажите, для чего? Ведь одно дело — на карте в классе решать, а другое — здесь, в поле... Командир обязан думать, думать, а не просто шашкой махать!..

— Оно так, когда в кино, — возразил капитан. — А здесь вон ты на двойку уже надумал.

Весь следующий день предметом шуток было решение Андрея развернуть колонну в боевой порядок при нападении самолетов. Корюков все выставил в определенном свете, и сослуживцы подтрунивали над Матвеевым добродушно.

— Размах у тебя, Андрюха, уж куда там! — шутил в курилке сосед. — Тебе бы боевые машины с крыльями, дал бы жизни воздушному противнику. С хвоста б зашел, да ПТУРСами его, ПТУРСами, супостата!

...Двусторонние тактические учения начались, как всегда, внезапно. Чуть брезжил рассвет, когда полк вывели в район сбора.

Роту лейтенанта Матвеева сразу назначили в резерв и про нее будто совсем забыли. Сначала Андрей ждал с минуты на минуту какой-нибудь важной задачи, потом забеспокоился, что учения закончатся, а он так и просидит без дела. Пришла догадка, что это ему из-за той двойки просто не доверяют...

И вдруг вызвали к командиру. Андрей не верил ушам. Рота назначена в головную походную заставу авангарда, усилена минометами, самоходными зенитными установками...

И не знал Андрей, что еще утром командир дивизии, проверяя полк, заметил: не все подразделения равномерно выполняют боевые задачи. Больше всего его удивило, что в резерве рота молодого командира, которому только учиться да учиться. Узнав, что причина в неудовлетворительной оценке лейтенанта Матвеева на занятиях, генерал возмутился.

— Где, как не на учениях, учить? — спросил он командира полка. — За действия в поле он двойку получил, так пусть теперь больше всех покрутится.

Не знал лейтенант и того, что в головную походную заставу его предложил назначить майор Быстрин...

На исходный пункт колонна вышла на несколько минут раньше положенного времени. Лейтенант Матвеев выбрался из люка и спрыгнул на землю. Внимательно оглядел колонну. Чуть в стороне от дороги, в кустарнике, увидел управленческие машины, а на пригорке — командира дивизии с группой офицеров.

К Андрею подбежал прапорщик, адъютант комдива, и пригласил к генералу. Выслушав доклад лейтенанта, генерал сказал:

— Помню, как вы лихо на прошлых учениях действовали, помню! — сделал он ударение на последнем слове. — А что ж теперь в двоечники попали? Как это вышло?..

«Если узнает, — ужаснулся Андрей, — наверняка отменит приказ комбата и отправит в резерв...»

Глаза комдива смотрят строго. Губы плотно сжаты.

— На занятиях по тактической подготовке была дана вводная, — начал Андрей.

— Знаю, — все так же сурово ответил комдив. — И о решении вашем знаю... Посмотрим, как вы с воздушным «противником» воевать будете.

Сказал, и то ли почудилось лейтенанту, то ли действительно мелькнуло в глазах генерала лукавство, а в голосе послышалась озорная нотка.

...Матвеев скомандовал «Вперед», и побежали навстречу леса, поля, деревушки.

Впервые в подчинении у Андрея было столько техники, солдат. Льстило ему и то, что старший лейтенант, командовавший приданной минометной батареей, сейчас, несмотря на старшинство в звании, был в полном его подчинении. Но надо было делом доказать, что ему не зря доверили такую силу.

Андрей любил тактику, нравилось ему читать карту, наносить на нее обстановку, решать задачи. И все-таки на обычном занятии это чуть-чуть смахивало на игру, а вот здесь...

Зашипело в шлемофоне, и Андрей услышал свой позывной. Офицер штаба руководства дал вводную: по населенному пункту на основном маршруте «противник» применил зажигательные средства. Впереди непроходимый очаг пожара.

Лейтенант впился глазами в карту. Вот и решение:

— «Сатурн»! Я — «Комета»! Перехожу на запасной маршрут.

Раскачиваясь на ухабах, боевые машины пехоты быстро побежали по проселку.

Сначала дорога шла лесом, но вскоре командир дозорной машины доложил, что находится на опушке и дальше путь свободен. Андрей перегнул сложенную гармошкой карту, глянул на нее и сразу узнал местность. Это был район командирских занятий, тот самый луг открылся впереди.

Солнце уже взошло и ласково играло в изумрудных росинках на ровном ежике свежескошенной травы. Река в это раннее, умытое ночным дождем утро отчетливо обозначилась на горизонте.

И тут же, будто нарочно нарушая утреннюю идиллию, в шлемофон ворвался возбужденный голос командира дозорной машины:

— «Комета»! Я — «Комета» — пять! Самолеты «противника» прямо.

Впереди, над самым горизонтом, вывалились из-за серебряной кромки пушистого облачка две блестящие капли и, быстро увеличиваясь в размерах, разворачивались для атаки.

Колонна уже вытянулась на луговой дороге. Лучшей мише-

ни и не надо. Андрей высунулся из люка, оглянулся. Нет, сомнений не было. Он знал свою роту, знал, на что способны люди...

Андрей прижал к горлу ларингофоны:

— «Комета» — один... два... три!.. Я — «Комета». К бою... Боевой порядок — углом назад. По самолетам — огонь!..

Машины весело разбегались по лугу, словно рисуя ровные ветви огромной ели.

Со свистом пронеслись самолеты, но ни одной машины на дороге не было. Разве только газик офицера из штаба руководства учениями мог стать мишенью для их фотопулеметов.

Андрей тут же приказал увеличить скорость и не держать равнения в боевом порядке. Опасался атаки с фланга. Самоходные зенитные установки уже выдвигались на указанные им позиции. Предчувствие не обмануло. Истребители-бомбардировщики, развернувшись, зашли с левого фланга, но были встречены огнем зенитных установок. Атака явно не удалась, и летчики ушли искать более доступную цель.

Несколько минут длился бой, а казалось, прошла вечность. По лицу бежали струйки пота. Андрей приказал перестроиться в походный порядок, увеличить скорость, чтобы наверстать потерянные минуты.

Приближалась речка.

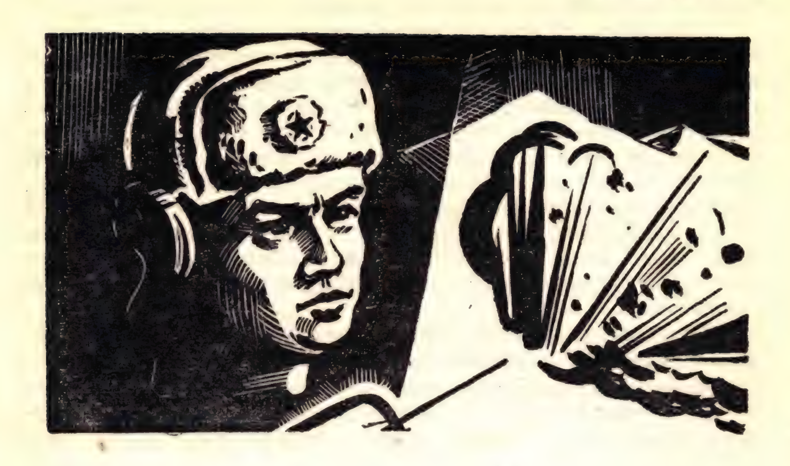
«Придется ли форсировать? Или действия сочтут неправильными и остановят, выведут из боя?..»

Пошарил взглядом по карте. Мост слаб. Приказал командиру дозорной машины разведать спуски к воде, а сам напряженно ждал. Ведь результаты воздушной атаки, наверное, известны комдиву...

И только подумал о генерале и о том, что не может быть в колонне сколько-нибудь влияющих на боеспособность потерь, услышал, как кто-то вышел на его волну.

— «Комета». Я — «Луна»! — лейтенант вздрогнул, узнав голос. — Отлично, «Комета»... Продолжайте выполнять задачу.

ЛЕОНИД ЮКИН



В ГОРАХ

Хорошо в горах осенью. Зайдешь в чащу в ясный солнечный день и чувствуешь, как усталость от тяжелых переходов сменяется бодростью, перестают ныть руки и ноги.

Я смотрю вниз и вижу голубую, в бликах полоску реки и черную асфальтовую ленту дороги. Шагаю по горной тропе и не знаю еще, что через много лет отчетливо, словно в цветном фильме, увижу и этот лесной склон, и полотняный городок, где уже месяц живет наша рота, и лица товарищей.

...Целый месяц мы ликвидировали остатки войны в горах Кавказа. Каждый из нас обезвредил десятки мин, подорвал сотни снарядов, научился по «пению» миноискателя определять местонахождение гремучей смерти, быстро снаряжать накладной толовый заряд. Много раз в день горы вздрагивали от взрывов, и разноголосое эхо, перекатываясь через вершины, постепенно замирало. Когда мы спускались с гор в палатки, встречные жители селения молча, глазами пересчитывали нас, облегченно вздыхали — и сегодня возвращаемся все...

Вечером, перед спуском в долину, мы стоим с сержантом Дядюком, моим командиром и другом, под старым каштаном, и я вглядываюсь в его лицо. Грусть сжимает сердце. Пролетели годы службы, завтра Дядюк едет в свое родное Закарпатье. Его ждут невеста, родные. У меня дома никого нет, да и дома

нет, кроме этих палаток. Я полюбил армейскую службу, ее четкую, размеренную строгость. Остаюсь на сверхсрочную.

...Начало моей срочной службы в армии совпало со смертью отца. На следующий день после похорон, с вещевым мешком за плечами, я отправился на призывной пункт. Не верилось, что отца уже нет и никогда не будет. Матери я не помнил, и оттого утрата отца особенно угнетала. На службе в первое время сторонился товарищей, искал уединения, вспоминал подробности прошлой жизни, но нечасто это удавалось. Отвлекали. Особенно досаждал командир отделения: «Рядовой Юркин, в строй», «Рядовой Юркин, не дремать», «Рядовой Юркин, не путайте ногу!» Надо мной стали посмеиваться, меня раздражал уверенно-строгий голос сержанта, и, не выдержав, однажды я ответил грубостью.

Вечером на собрании комсомольцы говорили, что я не уважаю товарищей, не уважаю командира. Взял слово Дядюк.

Говорил сержант медленно, и голова моя опускалась все ниже. «Рядовой Юркин как бельмо на глазу у нас — это стало общим мнением. Но почему только сейчас мы заговорили о нем? Кто из нас знает о Юркине больше того, что здесь сказано? Даже я, командир, не знал до сегодня. А ведь у человека горе... Значит, долю вины за такую его службу нам взять надо и на свою совесть. Плохо человеку без настоящих друзей...»

Что-то словно сдвинулось в моей душе, но не сразу прошла обида, и подчеркнуто строгий голос сержанта меня еще долго раздражал.

Однажды, в погожий декабрьский день, нас срочно собрали. Неподалеку, в глухом уголке, было обнаружено минное поле. Нам пришлось иметь дело с минами, которые пролежали в земле несколько лет.

Каждому саперу отвели полосу шириной в три метра. На сером, заросшем бурьяном поле отделение выстроилось уступом влево, как косцы на лугу. Снегу не было, и это облегчало работу. Сержант Дядюк поставил меня рядом с собой, и я подумал, что он не слишком мне доверяет. Обиделся, но смолчал, потому, что мастерством я действительно не блистал в ту пору. Не глядя на сержанта, закрепил наушники, настроил миноискатель и, медленно поводя им, двинулся вперед.

К концу дня мы обозначили мины на половине поля. Приходилось заканчивать работу; сержант уже снимал наушники, по временам косясь в мою сторону, как делал это целый день. Сейчас он улыбнулся, хотел что-то сказать, но вдруг суровая тень набежала на его лицо, и он громко, знакомым тоном приказа произнес: «Стойте неподвижно! Не пугайтесь!» И, когда я замер, раздельно добавил: «Ты стоишь на мине».

До меня не вдруг дошел смысл его последней фразы. Помнится, больше удивило это неожиданное обращение на «ты». Но потом глянул под ноги и обомлел. Сапог придавил тонкую

ржавую прозолочку, один конец которой был привязан к кусту барбариса, другой — к противопехотной осколочной мине заграждения. Она торчала в двух метрах от ноги, у границы минного поля. Мгновенно пришла догадка: мина не взорвалась при натяжении шнура, значит, она грохнет, как только я сойду с проволоки и освобожу ударник, который сейчас оттянут.

И, лишь сообразив это, я испугался. Первым желанием было отпрыгнуть, броситься на землю. И будь что будет. Но меня больше страха удерживал на месте приказ, отданный командиром спокойно и твердо.

Словно во сне, увидел, как сержант медленно подошел к мине, присел на корточки, внимательно осмотрел ее. Теперь смерть грозила только ему: он закрыл меня собой от возможного взрыва, но понял я это позже. А тогда не отрывал глаз от его широкой согнутой спины, боясь шевельнуться. Изъеденная ржавчиной проволочка могла порваться в любое мгновение, но сержант осматривал смертоносное устройство, казалось, целую вечность. Потом ему понадобились секунды, чтобы вставить чеку в отверстие штока ударника, перерезать проволоку и вывернуть обезвреженный взрыватель. Но что это были за секунды! Устало выпрямившись, Дядюк протянул мне взрыватель, глухо проговорил: «Все».

У меня не было слов, и, поддаваясь неожиданному чувству, я крепко обнял командира. А он вдруг смутился и покраснел: «Что ты! В нашем деле и не такое может случиться».

...Мы спускаемся в долину. И сегодня горцы будут молча считать нас глазами и облегченно вздыхать. Саперы начнут улыбаться, а мне все равно будет грустно. Завтра уезжает мой командир и самый близкий товарищ, и мне принимать у него отделение. Я еще не знаю, что и через много лет, в письмах, он будет со светлой грустью вспоминать эти трудные дни, которые сделали нас однополчанами, солдатами, научили в минуту смертельной опасности заслонять собою товарища.

ОЛЕГ ГАЛИНОВ



СТАРИННЫЙ РОМАНС

Катер с капитаном 1 ранга Волковым на борту отошел от причала. Отбрасывая две высокие волны, он стремительно понесся к стоящему на рейде ракетному крейсеру. Темные громады прибрежных скал уменьшились, как в перевернутом бинокле, а береговые огни засветились, засверкали ярче, словно остался за кормой большой порт.

Вот уже несколько лет Сергей Николаевич Волков считает своим долгом каждый корабельный праздник встречать на крейсере, потому что служба Волкова прошла здесь по всем ступеням от запрятанного в стальных недрах поста управления ракетной стрельбой до командирской рубки. И хотя теперь под его командованием уже соединение кораблей, крейсер остался для Волкова родным. Он заехал на часок домой, переоделся в парадно-выходную тужурку, сказал жене Ирине, что постарается вернуться к полуночи. Жена ничего на это не ответила, лишь посмотрела как-то загадочно, будто знала что-то такое, чего не знал он.

Свободные от вахты моряки собрались на праздничный концерт в сравнительно просторном помещении столовой, и командир крейсера, бывший когда-то старпомом Волкова, проводил начальство в первый ряд.

— Концерт подготовили на пять баллов,— не удержался он, чтобы не похвастать.— С сюрпризом! Разрешите начинать?

— Вы хозяева,— улыбнулся Сергей Николаевич.

Он знал почти всех артистов. И старшего матроса Валерия Жукова — высокого, с удивительно простодушным взглядом голубых глаз. Знал, как проникновенно поет он популярную в заполярном крае песню «Прощайте, скалистые горы...». Знал, как лихо отплясывают лезгинку близнецы из Еревана — братья Акопяны. А вот кукольный спектакль «Приключения нерадивого матроса Зайца» видел впервые и вместе со всеми смеялся. «Эх, Заяц, Заяц, кролик ты, а не заяц»,— насмешливо говорила кукла, изображавшая положительного матроса. И Сергей Николаевич неожиданно (то ли спектакль пробудил воспоминания, то ли незабытый странный взгляд жены) вспомнил свою встречу с Ириной.

Ехал поездом в первый лейтенантский отпуск с Тихого океана. Дорога тянулась бесконечно. Где-то за Красноярском в купе вошла девушка с большой сумкой. Тоненькая, глаза большие, карие, удивленные. Сам он с детства, как помнил себя, рыжеватым да конопатым слыл. А девушка — лицо белое, над глазами челка черная что смоль. На картинках таких рисуют. Он даже улыбнулся оттого, что была она в поношенной курточке и в резиновых сапогах. Сумка в ее руках вдруг зашевелилась, оттуда высунулось серое мягкое ухо. Девичья рука мгновенно упрятала его обратно, а глаза пугливо оглядели пассажиров — не заметил ли кто? Но снова появилось ухо, потом нос, который стал пытливо обнюхивать воздух в купе.

— Заяц! — радостно выдохнул Сергей, спрыгнув с верхней полки.

— Кролик,— серьезно поправила девушка.

— Дайте-ка мне вашего зверя,— он решительно потянул к себе сумку.— Сейчас его накормим. И вы присаживайтесь с нами.

Он вытянул серого за уши и опустил на пол. Девушка боязливо посмотрела на других пассажиров, которые явно не решили еще, как им реагировать на такое соседство.

— Проводник не заругается?

— Уговорим. Вы далеко едете?

— Нет, скоро выходить. Тетя моя тут живет. Погощу у нее, а потом дальше. В Москву. Хочу в университет поступать...

— Значит, к тетке на блины,— пошутил Сергей, еще не предполагая, что через год, во время очередного отпуска, помчится в Москву разыскивать эту темноглазую попутчицу в многолюдном университете.

Давно это было — поезд, кролик, станция с позабытым названием... Сто лет не вспоминал, а тут вспомнил! Их дочь Алька в этом году уже сама пединститут закончила. И, выложив на стол новенький диплом, заявила: «Работать хочу. Только работать и учиться дальше. Во всяком случае, уж не позволю себя закабалить какому-нибудь моряку». Волков понял, что это камень в родительский огород, и сказал только: «Ну, ну».

Распределили Альку в поселок оленеводов, в начальную школу. Когда она уехала, Сергей Николаевич почувствовал утрату. Хотя и прежде дочерью больше занималась Ирина, все же он, часто бывая в плаваниях, ближних и дальних, всегда ощущал ее неотделимость. А тут на тебе, взяла и ушла...

Сергей Николаевич вскоре слетал на вертолете в Н-ск, где командовал катерниками его однокашник. От городка до поселка оленеводов там не больше трех километров. Попросил старого товарища, чтобы дочь его, Альку, приютили в городке да приглядели бы за нею.

— Ты с ума сошел! — возмутилась Ирина, узнав об этом. — Как ты можешь такими просьбами обременять посторонних людей?

— Значит, могу,— ответил он упрямо.— И не посторонние они вовсе.

Неделю назад, когда он вернулся на этом же крейсере с полигона, жена показала ему листы бумаги, исписанные размашистым почерком Альки.

— Вот к чему твои старания привели,— произнесла она сдержанно.

Алька в письме весело сообщала, что Джульетта влюбилась намного раньше ее, и потому она смеет надеяться, что родители не станут в позу Капулетти, разрешат ей выйти замуж за одного мичмана, который, если не занят на службе, то каждый вечер встречает ее у школы, и они вместе идут напрямик через сопку в городок. Пожениться они решили летом, а на каникулы она к ним не приедет, поскольку в школе у нее кружки, и так далее и тому подобное.

Прочитав письмо, Сергей Николаевич задумался. Долго ходил в тот вечер по комнате. «Что за мичман? Почему все так сразу?» Нет, он немедленно отправится туда, чтобы самому увидеть этого Ромео. «Я им покажу Капулетти»...

Однако отправиться ему не удалось. Разбор стрельбы, в общем-то не очень удачной, неприятный разговор с командующим, после которого отпрашиваться было не с руки, масса других дел и забот помешали ему...

— Старинный романс,— вновь прозвучал голос ведущего.— Исполняет Ирина Волкова, аккомпанирует...

Сергей Николаевич вздрогнул, оторвавшись от мыслей.

Она стояла в трех шагах. Даже чувствовался запах ее любимых духов (давно он их ей не дарил!). Но он решительно не узнавал ту, которую несколько часов назад оставил в своей квартире. Перед ним стояла незнакомая молодая и очаровательная женщина в длинном платье. И платья такого он у нее не помнит. С каких-то пор просто перестал замечать наряды жены...

«Нет, не тебя так пылко я люблю...» — звучал ее низкий голос, к которому он привык за долгие годы, а сейчас ощутил, как тогда, впервые, на вечере в университете, до чего у нее уди-

вительный голос... Да, на факультете был вечер отдыха. «Идите в Коммунистическую аудиторию на второй этаж, ищите там свою знакомую»,— сказали ему в деканате. Он тихо вошел. На сцене пела девушка. Глядя под ноги, он пробирался к свободному месту. Потом поднял глаза и замер. Это была его спутница... Она, продолжая петь, с изумлением глядела на моряка. Потом поклонилась слушателям и побежала со сцены прямо к нему.

А сейчас не смотрит. Он осторожно огляделся вокруг — лица матросов растроганно-задумчивы. Что-то было и в этом старинном романсе, и в голосе самой певицы, отчего вспоминалось полузабытое и дорогое.

Ей долго аплодировали, и она появилась вновь. Но теперь вместе с нею вышел капитан-лейтенант. Именно из-за ошибки этого долговязого, с усиками командира группы управления чуть не завалили ракетную стрельбу. И он, кажется, собирается после этого петь с его женой?

Ирина потупила взор, сжала, чуть вытянув, тонкие руки и слушала, что этот долговязый напевает ей про свои чувства. Нежно напевает и фальшиво наверняка. Но Ирина сразу разгадала эту фальшь и запротестовала: «Ах, оставьте, ах, оставьте, все слова, слова, слова...» Да, на словах мы молодцы, вот если бы на деле так же! — Сергей Николаевич сердито смотрел на аккуратные тоненькие усики капитан-лейтенанта, который все пел про свои чувства. А тут еще в горле запершило не вовремя, хорошо, что аплодисменты заглушили кашель. Кто-то протянул Ирине цветы. И она, смущенная, раскрасневшаяся, ушла.

Концерт закончился. Командир крейсера, довольный собой, спрашивал: «Ну, как сюрприз, товарищ капитан 1 ранга?» Сергей Николаевич молчал. Офицеры направились в кают-компанию. Ирина была уже там. Увидев мужа, ожидающе взглянула на него. А он вдруг нагнулся и поцеловал ей руку.

— Ну, Иринушка, удивила ты меня сегодня. Спасибо!

Она обрадованно, как девочка, засмеялась.

...Огни городка бежали им навстречу. Море в эту ночь фосфоресцировало. Сквозь светящиеся волны катер шел к берегу. Желтые огоньки домов весело подмигивали, словно выговаривая: «Ах, оставьте, ах, оставьте!..»

У дверей квартиры их ждал ладный моряк. Ему явно мешал сверток в руке. Шагнув навстречу, он лихо отдал честь и тут же протянул Волкову сверток:

— Мичман Дорохов. Разрешите передать вам от Алевтины Сергеевны?.. Сама она не могла, так меня просила...

Волков поглядел на растерявшуюся жену.

— Это он?

Ирина молча кивнула.

— Ну что ж, давайте знакомиться.

Ирина тихо, похоже, облегченно, вздохнула:

— Заходите к нам, Алеша, гостем будете.



ЛЕШКА С ОНЕГИ

Всю ночь шел монотонный обложной дождь, ветер за окнами то стонал, то по-сиротски плакал в голом продрогшем вишняке. Всю ночь дедовская изба содрогалась от рева машин: старинным Бельским большаком отступали наши войска.

Заснул я лишь перед рассветом, а когда с трудом открыл глаза, удивился, что уже день, машины на большаке не ревут, а посреди избы — красноармейцы. В промокших шинелях, посиневшие от холода.

— Наследили тебе, бабушка,— смущается высокий и очень худой красноармеец с окровавленной щекой.

— Так как, бабушка? — спрашивает человек в распахнутой шинели с малиновой суконной звездой на рукаве, и я замечаю, как из-под этой шинели блеснул эмалью орден.— Если понесем его на руках, не скоро своих догоним. А нам надо побыстрей их догнать и вернуться на тягаче за пушкой. И его заберем... Тягач у нас отказал, бомбой его подбило... Мы скоро вернемся, — тихо говорит человек в распахнутой шинели.

Теперь я замечаю, о ком идет разговор: прямо на полу на мокрой плащ-палатке лежит молоденький красноармеец. Бабка Агафья неожиданно поднесла черный фартук к лицу и заплакала, причитая:

— Как же вы, сыночки... в такую непогодь да грязищу... по лужам студеным в ботиночках? Да под бомбами!

Я глянул на красноармейцев и заревел.

Человек в распахнутой шинели шагнул к печке и, сурово сдвинув кустистые брови, спросил:

— Чего ревешь, атаман?

— Жал-ко-о...— протянул я сквозь слезы.— Ва-ас...

Красноармейцы рассмеялись, даже тот, лежавший на полу, улыбнулся, а человек со звездой на рукаве засунул руку в карман мокрой шинели и подал мне в красивой обертке гречневый концентрат:

— Держи, атаман! Жалко, нет другого гостинца.

Бабка уже перестала плакать и скупо улыбнулась:

— Да чего там, сынки! Чего там... своих уже двое воюют...

Человек в распахнутой шинели повернулся к ней и сказал:

— Спасибо, мать! После войны в гости приеду и подарок привезу тебе. Петров слов на ветер не бросает! Запомни...

Прошел день и другой, дожди угомонились, устали, и проглянуло робкое солнце. Перегорали осины, стряхивая свой багрянец, и кора их пахла, казалось, яблоками. Морозным туманцем укутывались дали вокруг деревни. Бельский большак опустел, с той ночи по нему не прошел ни один красноармеец. Возник слух, что фашисты вышли к недалекой Сычевке не с западной стороны, где все лето строили доты и рыли рвы, а совсем с другой, в тыл нашим. Видно, потому и не вернулись артиллеристы за своим товарищем — знать, не до того им было пока.

Бабкин постоялец пришелся нам, деревенской ребятне, по душе. Кудрявый, русый, светло-голубые глаза, большие и грустные. Улыбался он очень трогательно, ласково и весело подмигивая. К тому же он иногда вполголоса напевал песню, очень красивую:

На прощальный наш денечек
Я дарю тебе платочек,
На платочке сини коймы,
Возьмешь в руки — меня вспомни...

Когда мы стали раненого красноармейца называть «дядей Лешкой», он нахмурился и приказал:

— Никаких дядей! Просто Лешка! Понятно? Вопросов нет? Кругом!

Бабка выстирала и высушила обмотки красноармейца, достала из сундука новину — суровый небеленый холст — и постелила гостю, но я стал замечать, что иногда она почему-то горестно вздыхала украдкой и поглядывала на него с некоторой настороженностью. А на вопрос соседки Нюрки: «Как там твой постоялец?» — ответила:

— Прыгает на одной ноге да песни поет весь день...

Однажды Лешка позвал меня и попросил:

— Слушай, отыщи тележку да созови ребят. Свезите меня родную мою посмотреть... за деревней, в роще...

— Какую родную? — не понял я.

— Там узнаешь,— ответил Лешка.

Ребят я собрал быстро. После того как у нас появился раненый, авторитет мой среди друзей явно вырос. Тележка тоже нашлась, совсем недавно с дедом Громом мы возили на ней к риге снопы.

В притихшей березовой роще, закиданная ветками, застыла большая пушка, ее ствол смотрел на дорогу. Рядом лежали снаряды. Чуть дальше, в калиновой уреме, чернел тягач «Ворошиловец».

— Вот она, родимая! — весело сказал Лешка.— От самой границы не расставались. Э-эх... А на проща-альный наш денечек я дарю тебе плато-очек. Калибр сто пятьдесят два! Пушка-гаубица... А на плато-очке сини коймы... Тягачишко подвел: мотор подбитый отказал. Возились с ним долго, да толку не вышло. А наши ушли... Должны вернуться.

— Лешка! Научи нас стрелять,— вдруг попросил Валя Зорин, и мы дружно рассмеялись от этой невероятной просьбы. Лешка перестал петь и, подмигнув нам, заявил:

— Очень даже можно, парни-ребята! Дело вот какое: был у меня верный дружок с самого Иртыша — заряжающий Петька Старостин, еще подносчик Илюха Петров да установщик Пашка из-под Одессы и телефонист Сашка Маркин из Орла... Но это не все: вдали от нас должен сидеть кто-то со стереотрубой и передавать нам координаты цели. Ну, да ладно — попробуем сами. Итак, шагом марш ко мне! Раскрыть рты, слушать и запомнить каждое мое слово. Итак... ставим на прямую наводку, затем ставим прицел, крутим ручки горизонтальной и вертикальной наводки, ловим в перекрестие фашистский танк, отыскиваем проклятый крест на броне и... нажимаем спуск! Да... а вот как мы снарядики поднимем? Кто из вас самый сильный?

Мы по очереди брались за снаряд, только никто не сумел стронуть его даже с места.

— Э-эх, парни-ребята, зря тужитесь, ведь снарядик весит ого-го! И надо на нем установить краник взрывателя. Вот как! Надобно раздобыть доску хорошую и колышки. Хоть один снаряд в ствол загоним на всякий пожарный случай.

Скоро мы притащили из сарая доски и колья, а Мишка Михайлов сбегал домой за гвоздями и молотком. Вплотную к пушке приладили «скамью», всей оравой вкатили на нее по доске снаряды — семь штук. Восьмой вогнали в ствол. Лишь потом Лешка позволил каждому прильнуть глазом к резиновому окуляру панорамы.

— Речку вижу! Яблоньку... И осина вся красная над ней. А там, дальше, лес и деревня какая-то! — закричал Валя Зорин.

Лешка грустно рассматривал перелески, щедро вызолоченные осенью, потом тихо сказал нам:

— У нас тоже река была. Далеко отсюда, не увидишь, а так хочется хотя бы одним глазком глянуть. На душе сразу отлегло б...

Лешка опустился на «скамью», вытянул раненую ногу, достал из кармана гимнастерки фотокарточку. На этой фотокарточке — широкая река с застывшей лодкой, а в той лодке беззаботно и задорно смеялась красивая девушка в сарафане с двумя длинными косами по груди. Девушка, видно, была очень веселая...

— Зовется эта реченька Онегой! — рассказывал Лешка, и его веселые глаза погрустнели.— По берегам леса, леса... сосновые. Деревенька моя у самой реки, от нашего огорода стежка к воде. Мама моя, Анна Ивановна, наверно, сейчас пошла за водой...

Больше Лешка ничего рассказывать не стал, а мы расспрашивать не осмеливались. Так и сидели молча. Полоска зари уже вычернила вдали дугу леса под скучным небом и деревеньку Пустошку на взгорье на фоне этого леса. Пора было снова укрывать пушку ветвями.

Поздним вечером бабка Агафья робко подошла к Лешке, призадумавшемуся у окна, и сунула дядькин старый пиджак да сатиновую синюю рубаху с набором белых пуговиц по воротнику.

— Возьми вот... младшенького мово, Петьки! Сказывают, хвашист от города Белова к нам прет. А он-то, Белый этот, совсем рядом...

Лешка внимательно посмотрел на бабку Агафью и твердо ответил:

— Спасибо, мать, только мне одежду нарком Тимошенко выдал и менять ее не имею права! — и в петлицах его выцветшей до ковыльного цвета гимнастерки словно зажглись зеленые треугольники.

...Всю ночь Лешка стонал во сне, и мы с бабкой не отходили от него. При желтом свете лампы лицо раненого казалось восковым, а русый чуб, рассыпавшийся по цветастой подушке, словно запорошен снежком первого зазимка. Вздрагивая, он тихо звал мать и какую-то Зою.

— Попрыгал маленько, и разболелась ноженька,— вздыхала бабка и всхлипывала.— А ить совсем мальчишка! Совсем дитя...

К рассвету Лешка успокоился. Утром, когда ко мне уже пришли Мишка Михайлов и Валька Зорин, он посмотрел на нас запавшими, просветленными от боли глазами. Кажется, Лешка собирался что-то сказать, но в светелку влетела бледная бабка и едва прошептала:

— Немцы...

Мы прилипли к окну: далеко-далеко, из Ключиков, под гору тянулась большаком черная колонна. Может, наши?..

— А ну, ребята, живо меня к пушке! — сиплым, но спокойным голосом приказал Лешка.

В осеннем настое березовой рощи перекликались тетерева. Где-то серебряным колокольчиком звенела синица, радуясь, что некому уж спорить с ней в пении... Ствол пушки блестел крупными каплями росы, и багрово горели на нем прилипшие листья осины. В деревне залихватски орал чей-то петух, еще не чувствуя, что, может быть, это его последний день...

Лешка подскакал к пушке и, протирая рукавом панораму, пропел:

— Ах, на после-едний наш денечек я дарю тебе платочек...

Потом обернулся к нам, улыбнулся, как всегда, ласково и тихо сказал:

— Теперь, парни-ребята, что есть мочи... вы слышите! Что есть мочи — домой!.. Эх, на плато-очке сини коймы, возьмешь в руки — меня вспо-омни... Давай, давай, ребята!.. А я думаала: смеется, а он навеки расстается...

Видя, что мы не двигаемся с места, Лешка будто взрослым пожал нам руки и легонько толкнул в спины.

Сдирая ноги о колючее жнивье, мы успели добежать до первого сарая на краю деревни. Запаленно дыша, свалились у ворот...

К повороту большака у Горелого болота выезжал маленький танк с белым крестом на броне. Фашистских самолетов мы уже насмотрелись, но танк их видели впервые. За танком медленно шла тяжелая автомашина с длиннющим кузовом, полным солдат в болотного цвета шинелях.

За машиной катили еще три танка, тоже с крестами на зловеще желтых боках, только эти танки были большие, над их открытыми люками маячили головы в шлемах. Пешей колонны пока не было видно.

В этот миг и содрогнулась земля, ворота сарая распахнулись и затворились, а когда дым с большака стало относить в сторону, мы увидели такое, чего нам не довелось увидеть потом за всю войну... Огромной машины с орущими солдатами не было, лишь в воздухе с дымом носились какие-то черные щепки; головной танк стоял вверх днищем, и его оголенный передний каток медленно вращался.

Потом выстрелы сотрясли землю несколько раз подряд (это уже стреляли немцы), и всякий раз хлопал сарай своими воротами.

В тот осенний день сорок первого года мы пережили многое, и обо всем не вспомнишь теперь. Осталось в памяти, как вечером пробирались мы с дедом Громом кустами и болотами к раз-

битой пушке. На измятой траве, широко раскинув руки, лежал Лешка, словно живой, и смотрел грустными, отсутствующими глазами в васильковую бездну. Впалые щеки его были черны от пороховой копоти.

Никаких документов не оказалось в карманах его гимнастерки. А за веточку осеннего осота с прихваченным морозцем поникшим малиновым цветком зацепился белый носовой платок с синими коймами и розовыми вышитыми словами в уголке: «Не забудь в дальней стороне. Зоя». Да еще кругом валялись мятые пачки от чужих сигарет.

Молча выкопали могилу, молча опустили Лешку, лицо накрыли дареным платком.

На свежий бугорок положили пучок лилово-розового вереска, что запоздало отцветал еще здесь, в березовой роще. Гром достал кисет, закурил и, вглядываясь в безлюдную лиловую даль октябрьских полей, в раздумье проговорил:

— За такие дела Звезду Героя давать надо... Да, а как его фамилия?

Только фамилии Лешки никто не знал. Мы вспомнили, что родом он с реки Онеги, что домик его стоит на берегу, в нем живет мать, леса сосновые кругом. Еще вспомнили, что Лешка в бреду наказывал какой-то Зое ждать его...

Дед Гром очень расстроился, но мы его успокоили: ведь Петров обещал после войны приехать к бабке в гости.

Только Петров после войны в гости не приехал и подарка бабке не привез. Да бабка уж и не нуждалась в нем: через год она умерла в оккупации от голода...

На Лешкиной могиле в дни, когда запах осеннего увядания волнует человека, а над притихшими полями стелется прощальный клич журавлей, вереск выкидывает лилово-розовые колокольца. По вереску и определяли Лешкину могилку.

Потом надолго позвал меня Северный флот, а когда я вернулся в родные края, вереск буйно цвел уже по всей березовой роще.

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ



ВСТРЕЧА

Бывает, вспоминаешь, когда и как впервые увиделся с людьми, которые навсегда станут твоими друзьями, да память отказывает. А подполковник Лазутин не мог бы забыть, даже если бы вдруг захотел. Такая уж встреча. Спустя десятилетия, словно сейчас, как-то очень живо он видел ту весну с яростным солнцем, птичьими трелями, пьянящим запахом земли. Помнил, как сидел у землянки разведчиков. Переведенный в разведку, Клим ждал нового командира, чтобы представиться ему. Пытался выведать поподробнее о старшем лейтенанте Марецком у пожилого разведчика Еремеева, до войны колхозника из-под Мурома, а тот, признавшись, что уважает культурных людей и, стало быть, «самою культуру», в свою очередь хотел послушать про университет, где, по его сведениям, учился Клим Лазутин. О командире высказался коротко:

— Честно если, то я слова не то чтобы грубого, а, скажем, лаконического от товарища старшего лейтенанта не слыхал. За то и уважаю не я один. В работе же, если честно, подлинный мастер. Наивысочайшей квалификации.

Слово «лаконический», употребленное столь неожиданно, удивило Клима. Потому, возможно, и запомнилась привычка нового знакомого вместо слов вроде «сражаться», «воевать» говорить милое душе труженика «работать». Потому и вспомнилось через столько лет это его «мастер», звучавшее особо весомо.

Клим слушал, следя за стройным, подтянутым до щеголеватости офицером, легко выпрыгнувшим из коляски мотоцикла, и слегка растерялся, когда Еремеев тихонько подтолкнул:

— Командир это. Докладывайтесь! Из штаба приехал, не иначе серьезная работенка наклюнулась.

...Линию фронта переходили около часу ночи. К шести группа вышла в намеченный район; здесь, в лесу, разделились. Пятеро с Марецким двинулись дальше, к шоссе, на захват «языка». Двое оставались в балке, где обнаружили телефонный кабель,— Еремеев и Клим. Никто из уходящих не оглянулся. Марецкий, как раньше, уверенно держался впереди, ничем не отличаясь от других в своем камуфляжном одеянии.

— Языкастый нынче нужен «язык»,— вздохнул Еремеев,— потому сам командир и пошел. Удачливый он у нас...

Клим прильнул к наушникам, ловя немецкую речь сквозь шорох и треск. Здесь пригодилось его сносное знание языка.

Марецкий вернулся к вечеру с угрюмым майором вермахта и его пухлым портфелем. Разведчики тихо курили, негромко переговариваясь. Из их замечаний Клим понял: вышло не совсем так, как было задумано. Марецкий просмотрел записи телефонных переговоров:

— Пойдет!

Отгоняя тревожные мысли, старший лейтенант уточнял по карте обратный запасной маршрут. Безуспешно потратили несколько часов на поиски разведчика Петра Седова, ушедшего неделю назад в тыл врага. Уже двое суток Седов не выходил на связь. Свое примерное местонахождение сообщил, однако — ни его, ни рации, ни единого следа... Что с ним стряслось?..

Когда двигались «домой», появился одинокий «мессершмитт». Он развернулся и еще раз, на меньшей высоте, пролетел над головами разведчиков. Марецкий понял: несмотря на сгущавшиеся сумерки, они обнаружены! Жестом подозвал сержанта Мякушева, крепыша-волжанина с аршинным разворотом плеч:

— Доведешь, Василий Макарович? — кивнул на «языка».

— Есть, товарищ старший лейтенант.

Маневр этот был задуман командиром разведки заранее: Мякушев с майором и его драгоценным портфелем выходит в условленную точку, где их ждут.

Группа отвлекает на себя внимание и пробирается болотами на стыке двух полков противника севернее «коридора», по которому идет сержант Мякушев.

Натужное зудение мотора услышали минут через сорок, когда считали себя почти в безопасности, надеясь на ночь. По голому полю уже приближались к спасительному лесу. И тут увидели, как, отрезая от леса, догонял их тупорылый грузовик. Застрекотали автоматы, залились оскаленные овчарки. И все-таки разведчики прижали врагов к земле, после того как простелили шины грузовика. По известным ему одному ориенти-

рам Марецкий в сгустившейся темноте нашел начало тропы через трясину, но переход отложил до рассвета, полагая, что ночью враги не сунутся.

Запомнился Климу взгорок у самой топи, на котором окопались разведчики: вероятность атаки Марецкий все же не исключал. В памяти удержалась, конечно, не вся панорама болотного ландшафта с неровностями островков, с кособокими реденькими ольхой и березой. Остался запах травы, отдающий прелью. Помнит, как растряс, подражая крестьянской повадке Еремеева, слежавшийся пырей по брустверу, как все не мог уснуть, прислушиваясь к далеким выстрелам и разрывам. И все же ошеломила магниевым свечением ракета, после которой стали рваться первые, запущенные вслепую мины... Услышал ободряющие слова старшего лейтенанта:

— Отобьем! Не трусь, пока не каплет!

Потом Клим с Еремеевым несли раненого товарища. Но тут земля вздыбилась, разметав их в стороны...

Очнулся в глубокой ложбине. Сквозь дым, мутивший сознание, увидел над собой лицо женщины, повязанной черным платком:

— Ранен сильно ли?

— Контужен,— Клима потрясла слабость собственного голоса.

— Ну контужен, едино дело, а идти-то можешь ли?

Поднялся. Сперва на колени, упираясь руками. Выпрямился в рост. Женщина подставила плечо. Опушкой провела Клима до своей избы. Привычно подцепила топором половицу, помогла протиснуться в подпол. Сказала строго, сунув ломоть хлеба с тонким куском сала, луковицу:

— Надо чего — стучи, а так — терпи! — Во взгляде ее была суровость. Видно, с полным сознанием принимала она ответственность, и Клим кивнул.

С минуту обвыкался. Различил отдушину высотой в ладонь. В прохладе подпола пришел в себя; отпустила боль. Что с Марецким, Еремеевым, остальными? Когда потерял их? Помнил все до того, последнего взрыва... Выходит, взрыв спас его от плена, завалив землей и ветками вывороченной осины. Но что дальше?

По ту сторону отдушины начинался новый день весны сорок второго, а сюда солнце не доставало, и Клим ежился.

В отверстие, как ни мал был обзор, Клим видел подковообразный изгиб крутого берега, скрывавшего русло речушки, край леса. Знал: на том берегу — избы, но велика ли деревня, все же не успел рассмотреть, когда хозяйка скрытно вела его к своему двору, стоявшему у леса на отшибе. Зато запомнил, что примерно в километре перечеркивает поля шоссе, а от него к деревне ведет широкий проселок.

«Отдохнуть час-другой и подаваться, — думал он. — Дорога

подозрительная, в любую минуту могут по ней нагрянуть. Да и хозяйка неспроста такая осторожная. Но, чем черт не шутит, вдруг удастся перейти фронт».

И тут от шоссе донесся знакомый натужный гул — танки... Эх! Был бы рядом пусть не сам Марецкий, хоть степенный Еремеев!

Клим шагнул от отдушины и вдруг почувствовал чей-то наблюдающий взгляд. Не услышал, а скорее ощутил шорох в темном углу, там, где у хозяйки оставалась картошка, и напрягся, но успокоил себя — мыши! Однако вслед за легким шелестом соломы из темноты раздалось:

— Покурить не найдется?

— Нет,— не успел удивиться Клим. Смертельная усталость, голод и тупая ноющая боль в висках, видно, доконали его. Что ни случись — не удивился бы. А тут голос, да спокойный, обыденный, с симпатичной сипловатостью:

— Выходит, вторая мать нам с тобой Савелишна.

— Выходит, так.

— Садись, ладно, чего застыл!

Клим взял протянутую флягу и после доброго глотка ощутил прибывающую бодрость. Глаза привыкли к полумраку, и можно было рассмотреть контур пилотки, отблеск красной звездочки. Человек в свете скупого луча протирал пистолет.

— Как звать тебя, солдат? — не отрываясь от работы, спросил неизвестный.

— Лазутин, Клим.

— Седов я, Петр Сергеевич. Будем, волей судеб, знакомы.

«Седов... Вот о ком тревожился Марецкий»,— вспомнил Клим. И как ни странно, чем-то новый знакомый показался в полумраке похожим именно на Марецкого. Наверное, сдержанной манерой разговора... Потом, при солнечном свете, Клим обретет способность удивляться, когда увидит у Седова почти те же усы щеточкой над строгим вырезом губ, встретит его прямой и твердый взгляд...

— Из скромности не спрашиваю, как ты здесь оказался, Клим батькович. Будем считать — вышли мы за ландышами и заплутались в лесу. Теперь на повестке — что дальше?

— К нашим, через фронт,— вырвалось у Клима.

— Согласен. Пора домой. А там разберемся...

Очутись на месте Седова Марецкий — он тоже твердо знал бы, как быть в этой ситуации. Следя за деловитыми и точными движениями Седова, Клим решил, что парень этот наверняка той самой крепкой породы, из которой выковываются командиры, что на него, пожалуй, можно положиться — не это ли было главное сейчас?

Седов сунул в кобуру пистолет и встал, прислушиваясь к голосам наверху: к хозяйке кто-то зашел, может, из деревни. Доносился глуховатый стариковский голос:

— Вечор залег на печь, так всю ноченьку маялся — стреляет и стреляет в боку. Германцев кругом тьма!.. Едут куда-то по тракту. Вчера переполошились, гоняли их, видать, парашютистов наших ловить. Трое наших полегли. В крытой машине их увезли, а командир с остальными, говорят, сквозь болота ушел. И откуда тропу-то выведал?! Ее старики и знать забыли. Ох, грехи наши... За яички тебе, Катерина, спасибо. Внучку на ноги поставлю. Всех кур извели ироды. Ты у леса живешь, боятся нос совать сюда лишний раз. Вот хохлатка твоя и уцелела... Да... — Голос стал глуше, — как там наши сыны! Вместе ведь уходили в Красную Армию. Твой-то Павлушка побойчей моего Сереги...

Стало тихо. Потом Седов спросил:

— Понял стариковы сведения?

Что же тут не понять? Ведь Клим товарищей, с которыми был, записывал, можно сказать, в «смертью храбрых»...

— У тебя что — оружия никакого? — спросил Петр из темного угла, откуда пахло землей и картошкой.— Играть на этой бандуре умеешь? — и он, пошуршав соломой, приблизился к отдушине и протянул Климу завернутый в тряпицу немецкий автомат.

— Не приходилось.

— Дело нехитрое. Свернул предохранитель, сбоку на себя. Сильно не стискивай, держи чуть на весу. И короткими бей, короткими.

— Есть, понял.

— Считай, подарок, хоть без гравированной пластинки. С голыми руками тебя буренка в плен утащит. Ну, мне надо коекакое казенное имущество забрать. Стукну, тогда вылезай.

Петр поскреб по половице и, когда Савелишна завозилась с топором, надавил плечом снизу.

Небогатое подворье Савелишны состояло из сараюшки и дровяного навеса; на сеновале была спрятана поврежденная рация. Седов эти два дня все пытался починить ее, чтобы сообщить разведданные. Но понял, что в аппарате какие-то серьезные повреждения. Надо торопиться в часть. Седов надел лямки, посмотрел через широкую щель наружу и отпрянул: два фашиста переходили речку, направляясь к избенке Савелишны. Они балансировали, скользили на мокрых валунах.

Зачем приспичило фашистам лезть на сеновал? Если снять одного без шума, финкой, и он загремит вниз со стремянки, то второй успеет открыть пальбу. Сбегутся из деревни. Верный конец. Седов тронул лимонку на груди, там, где редко щупают при первом поверхностном обыске, и медленно повернулся на изумленные возгласы.

Немцы обшарили сарай, пошлепали по карманам, отобрали пистолет, позволили подойти к колодцу и глотнуть из ведра, совещаясь, что делать с «находкой». Петр сумел вывести их к ко-

лодцу, под прицел Климова автомата. Напился студеной воды и как можно спокойнее обратился к стоящему ближе:

— Ну что уставился, щенок нацистский?

На голове у фашиста наискось, на одну бровь, красовалась пилотка, придававшая, как, должно быть, считал ее владелец, лихой вид. Однако в немигающих глазах никакой лихости не было, лишь холодная настороженность.

...Клим видел их через свою отдушину. Он решил, что для Петра такой поворот был полной неожиданностью, недостало считанных секунд, чтобы выхватить оружие, взвести и нажать на спуск... Фашисты заспорили. Клим понял это по жестам и мимике: звуки голосов сюда не проникали. И тишина была пустой, страшной. Боль внезапно стянула голову жгутом. И так же сразу этот приступ прошел. Пока нащупал автомат, вспомнил такую же тишину ночью, после взрыва, в изуродованном лесу. Подтягивая к себе и прилаживая поудобнее «шмайсер», Клим не сводил глаз с Седова. Каждой мышцей чувствовал напряжение, словно слился с Петром.

Затаив дыхание, Клим осторожно подтянул «шмайсер» на уровень глаз, примерился, повел стволом, насколько позволяла отдушина. Встал на колено, вдохнул поглубже и, будто бросаясь с обрыва, рванул спусковой крючок.

Ни выстрела, ни щелчка.

«Собачка» мягко утонула в рукояти: в волнении Клим забыл про предохранитель. На чем свет стоит клял он мысленно чертов «шмайсер», никак не мог нащупать нужные шпеньки на вороненой поверхности чужого оружия. Стоящий ближе солдат что-то коротко и резко бросил Седову, но тот усмехнулся и далеко сплюнул сквозь зубы; окрик повторился, и немец ткнул разведчика дулом автомата.

Секунду назад, словно вросший в землю, Седов сорвался с места и в стремительном падении рванул к себе автомат. Обезоруженный солдат тяжело грохнулся ничком и вскрикнул, прижатый к земле Седовым. Клим задохнулся от страшного напряжения: он как будто уже слышал автоматную очередь в упор, по Петру. Но второй солдат, остолбенев от неожиданности, лихорадочно дергал зацепившийся за погон ремень автомата.

Клим нащупал предохранитель, рванул выступ затвора. В вороненом нутре «шмайсера» упруго клацнуло, и Клим словно слился всем телом со стрелявшим автоматом. Очередь оглушила его на мгновение. Но, догадавшись, что глубина подпола, толща стены и насыпной завалинки погасили звуки и в деревне, может, не услышат или сразу не поймут, откуда стреляли, он не стал дожидаться, пока Савелишна подоспеет с топором, нажал на половицу снизу.

Седов задыхался, подтаскивая гитлеровцев к обрыву:

— Чего стал?! Камни, камни запихивай им в карманы и

за пазуху. Пусть кормят рыб в омуте. Следов не оставлять, деревню сгубят, сволочи...

Он поднял свой пистолет и стер пыль; один автомат повесил на грудь, другой надел на шею убитому, вынув обойму:

— Там постреляет. Подпихни! Берем теперь ноги в руки, а то ведь заждались нас дома, — и беззвучно усмехнулся одними губами, а лицо, как маска, белое.

— Погоди, — сказал Клим.

Вся в черном, Савелишна тихо сказала:

— Вы вертайтесь, сыночки.

— Вернемся, матушка... И поклон вам низкий.

А Седов говорить не стал ничего: обнял крепко и поцеловал ее в губы.

Потом молчал и только в лесу чертыхнулся негромко, уловив рокот авиамоторов. Вдали буравил небо «юнкерс». Клим заметил горестную складку на щеке, пульсирующую шейную жилу, вздрагивающую руку на ремне трофейного автомата. Сейчас он понял, чего стоила разведчику скоротечная схватка... Положил ладонь Петру на плечо, словно передавая многое, теснившееся на сердце. Седов отстранился, не зная, принять ли это по-мужски скупое выражение чувств. Он думал, как быстрее, махом миновать бугристые проплешины лесосек и углубиться в чащу. Поправляя рацию, пробурчал:

— Обстановку там, конечно, ты вовремя понял... Между прочим, целую очередь зря пустил, хватило бы и одного патрона.

...Двое шли на восток. Шли, не зная, какая опасность может подстеречь их каждый час. И даже в самых смелых мечтах не могли бы тогда помыслить, что спустя много-много лет пройдут этими, уже мирными тропами подполковники Лазутин и Седов, полковник Марецкий и старшина запаса Дмитрий Еремеев. Не останется и следа от окопов на бугре у болота, зарастут мхом воронки от мин. Не встретят больше в этих краях старую Савелишну, переехавшую в город к сыну-офицеру. Многое изменится, только небо над головой будет совсем как в том далеком апреле: пронзительно голубое, ясное, с переливами мятежного весеннего солнца.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ



РОССТАНИ ПОМНЯТ

Всех жителей деревни оккупанты гнали за околицу. Впереди толпы, часто спотыкаясь в сугробах, с высокой палкой-посохом семенил единственный в те дни на деревне мужчина — дед Андрюшка. За ним медленно шли женщины. У иных на руках были младенцы, завернутые наспех во что попало. Сзади плотной отаркой тянулись мы, ребятишки. По бокам толпу конвоировали, ежась от жгучего ветра, фашистские солдаты.

Главным над ними был обер-лейтенант Курт Браун. Его я знал в лицо: он и еще трое из штабной роты дивизии СС «Адольф Гитлер» размещались в нашей избе. На одной петлице его мундира было изображение молнии, на рукаве нашита лента с надписью «Адольф Гитлер». Сейчас Курт Браун шагал в длинной шинели, а его сапоги были всунуты в неуклюжие, похожие на лапти, «эрзац-валенки».

Женщины приглушенно плакали. У моего друга Мишки лицо посерело, у Вали Зорина судорожно искривился рот, его брательники тряслись всем телом. Только Настена Горностаева в распахнутой, отороченной мехом шубейке шла спокойно, на Настениных щеках играл земляничный румянец, и, ослепительно блестя зубами, она щелкала семечки... Словно на прогулку шла. На ходу она по-свойски толкнула плечом Курта Брауна и, кивнув на сапоги в лаптях, спросила: «Не жмут туфли-то?»

За ночь вьюга занесла деревенскую улицу, намела сугробы по самые окна и выбелила крыши. Теперь сквозь белесую муть скупо светило солнце. Дорога за селом едва виднелась, теряясь в конце снежной равнины в фиолетовой мгле, откуда со свистом катилась поземка.

Вот и росстанный простор. Пригорюнился вдали овин, а за ним по берегу речушки зловеще задирала стволы немецкая батарея. Еще дальше застыл безмолвный лес.

Я вспомнил, как тут бывает летом. Среди высоких хлебов сквозят голубые озера цветущего льна, у проселка в дикотравье из-под ног зелеными брызгами сыплют кузнечики. Проселок бежит прямо на восход и скрывается в хлебах и льнах. За овином в полынниках, знойно дышащих горечью, нежно поет овсянка.

А когда зарницы станут гулять над вызревшими овсами, над тревожно-таинственными шепотами ржи и густым дикотравьем, не найти места лучше, чем эта росстань.

По августовским росам стелют здесь женщины льны и дружно, слаженно поют, как поехал на чужбину казак на вороном своем коне и пал за родину. Бесконечные дорожки льнов коврами ложатся на север до прояснившихся к осени горизонтов. Тогда целыми днями дымится овин, стучит там сортировка, ходят в приводе кони и вкусно тянет хлебом новины. А дед Андрюшка великодушно позволяет ребятишкам поиграть в прятки в ометах яровой соломы, которая пахнет мякинной пылью и сладостным запахом увядающих васильков. Сознание того, что росстанные просторы, засугробленную мою деревеньку, мать с грудным Васькой на руках, деда Андрюшку, друзей и вообще весь этот свет вижу в последний раз, заледенило мою кровь. Я хотел заговорить с Валькой Зориным, но губы, словно резиновые, не слушались.

Курт Браун что-то звучно, отрывисто скомандовал, и солдаты кинулись врассыпную, потом замерли вокруг нас, расставив ноги, вскинув автоматы. Пронзительно закричала какая-то женщина, и безудержным плачем отозвался ребенок. «Сейчас начнут расправу, — пронеслось в моей голове, но при этом я удивился: — Зачем фрицы стали кругом? Так стрелять нельзя, своих побьют...».

В следующее мгновение к нам подбежали трое фашистов с лопатами. Они раздали их женщинам, у которых не было на руках грудных детей, и Браун скомандовал:

— Копать!

Я понял все. Обер-лейтенант приказывал выкидывать снег из огромной ямы для силоса, куда солдаты с гоготом столкнули деда Андрюшку, сунув ему в руки лом.

Только Настена Горностаева не взяла лопату. Стройная, она стояла в распахнутой шубейке, ветер далеко откидывал подол ее платья, оголяя кирпично-красные от стужи нагие колени

(видно, как и все, не успела одеться потеплей). И я подивился, что она будто не чувствует холода. Грустно-насмешливая улыбка затаилась в Настенином лице с земляничным румянцем, с зелеными глазами, полуприкрытыми выгнутыми ресницами. Настена продолжала щелкать семечки, засунув левую руку в карман шубейки.

Эту плясунью и озорницу любили в деревне. Я подумал, что такую красивую не станут расстреливать, и, наверное, она об этом знает, иначе ее лицо тоже было бы бледным от ужаса, как у всех.

Пожилой, сутулый обер-фельдфебель шагнул к ней и что-то крикнул.

— Сам копай! — ответила Настена, а тот, кажется, приготовился хлестнуть ее по щеке, но, остановленный словами Брауна, щелкнул куцыми, мерзлыми сапогами и отступил на шаг.

Обер-лейтенант не спеша подошел к девушке, осмотрел ее с головы до ног и отвернул полу своей шинели. Я подумал, что он полез за черным парабеллумом, который не раз видел у него. Но в руках офицера блеснул портсигар, потом Браун щелкнул зажигалкой.

— Ты красивый... женщин! — поощрительно сказал он и улыбнулся, довольный, что может говорить по-нашему. — Пойдем за мной замуж! Поедем Берлин. Скоро Москва капут... Сталин капут! Большевик и комиссар капут!

Глаза у Настены сделались разбойными и зелеными-зелеными, будто ранний крыжовник.

— Ну, падать, так с белого коня! А ты куда годен?.. Лапти вон напялил, и нос синий, что у покойника, того и гляди, капель появится.

Женщины с детьми на руках, кажется, онемели от дерзости этих слов и перестали плакать. Трудно сказать, понял ли до конца смысл сказанного Браун, но почему-то не рассердился, а, может, сдержался.

— Не желай мной — выбирай любой! — широко повел он рукой на солдат, продолжая улыбаться.

Настена усмехнулась, застегнула на кумачовой кофточке верхнюю пуговку и внятно ответила:

— Кого тут выбирать — ни одной умной рожи не вижу!

Обер-лейтенант перестал улыбаться, нахмурил белесые брови и упрямо, будто с кем спорил, повторил:

— Москва капут! Большевик и комиссар капут!

— Журавель раз крикнет, так весной запахнет, а ворона, сколько ни каркай, все зима! — качнула головой Настена и протянула руку: — На, лучше семечек поклюй!

Старик Андрюшка и все женщины, что были в яме, перестали кидать снег и в страхе ждали дальнейшего.

И тут я услышал какой-то треск, шорох, не похожий на

звуки катившейся с востока поземки. Мишка дернул меня за рукав и взглядом показал назад: наша деревня горела из края в край. Огненные языки косого пламени лизали крыши, и шум пожара прорывался сквозь завывание поземки. Где-то ошалело кричал петух, мычала призывно корова.

Настена тоже оглянулась: лицо ее вдруг стало бледнеть.

— А-а! Жених лапотный, драпать собираешься, оттого и деревню подпалил... — долетел до меня голос.

— Не надо обижаться! — наставительно произнес обер-лейтенант.

— Обижаться? Вот выдумал. Что толку на тебя обижаться. Ты же зверюга!

В руке фашиста гулко щелкнул парабеллум, и Настена взмахнула руками, потом косо прошла боком и опрокинулась навзничь, крыльями раскинув полы шубейки.

В крике зашлась какая-то девочка, и, будто по команде, заплакали вокруг малыши, стали приникать к матерям.

Настена рвала на груди кумачовую кофточку и с хрипом билась головой о снег. Обер-лейтенант стремительно шагнул к ее распластанному телу, сапогом в лапте рассчитанно вдавил в снег растрепанные иссиня-черные волосы, выстрелил несколько раз в лежащую.

И сейчас же за овином рявкнули пушки. Недалеко от нас в небо взметнулся султан земли и снега, а в глаза ударило острой снежной крупой. Один гитлеровский солдат, издав вопль, упал. Обер-лейтенант с криком стал размахивать парабеллумом; фашисты рассыпались, отрывисто переговариваясь на бегу.

Едва ли кто из моих односельчан мог в те минуты разобраться в происходившем. Почему вдруг вражеская батарея открыла огонь? Куда кинулись солдаты? Отчего горит деревня?

— Бабы! Вались все в яму! — скомандовал дед Андрюшка, и некоторые поспешно повиновались, а другие бросились по целине к горящей деревне. Обронивший пилотку рыжий фашист выхватил гранату-толкушку и, похоже, на миг задумался, куда кинуть: в яму, набитую детьми и женщинами, или вслед тем, кто убегал к деревне. Вдруг он изогнулся и рухнул на снег, а у Вали Зорина какая-то сила сорвала с головы старую, выгоревшую буденовку... Потом мы, ребятишки, увязая в сугробах, падая, плача, ринулись к овину.

— Наши! Наши! Наши! — как полоумный кричал Валя и прыгал вокруг веялки. Я выглянул в проломанный бок овина и только теперь заметил пробивающиеся в метельной мгле танки. Сперва почудилось, что их очень много, но оказалось всего три. Они стреляли на ходу, а вокруг них поднимались черно-белые фонтаны разрывов.

Вдруг головная машина вспыхнула, и дегтярного цвета дым закурчавился над ней. Пройдя еще немного, танк словно уткнулся в ложбину. За ним остановился второй. Правда, он не загорелся и даже, поводя башней, продолжал вести огонь, но не двигался. Зато третий, казалось, самый большой, с длинным пушечным стволом, внезапно вырвался вперед и, порой скрываясь в дымных взрывах и снежной крутоверти, понесся на батарею, куда уже добежал Курт Браун и откуда сквозь гул мотора и выстрелы раздавался его пронзительный крик. Теперь все четыре вражеских орудия стреляли по краснозвездной машине. Я видел, как с танка сорвалась какая-то бочка, потом еще что-то, как от брони полетели огненные брызги, но он несся, словно завороженный...

Тогда нас как-то не удивило, что устремившийся к батарее танк не стреляет из своей пушки и пулеметов, хотя без устали маневрирует.

Но вот танк перевалил бруствер, и в тот же миг первое орудие скрылось под ним, а затем — и второе. Видно, дерзость и удачливость, с которыми машина утюжила позиции батареи, вызвала такое замешательство в артиллерийских расчетах, что были раздавлены и два остальных орудия.

Курт Браун тоже побежал, но споткнулся. Бронированный богатырь вдавил его в снег, ринулся к лесу и, натруженно ревя, скрылся в метельной мгле.

На поле еще догорал головной танк, как сквозь посвист метели отчетливо послышалось русское «Ура!»

К полудню все жители нашей сожженной деревни перебрались в овин, насквозь продуваемый пуржистым ветром. Грудных детей спрятали в колоснике, куда недавно набивали для сушки льняные снопы.

Посреди овина на шубейке лежала Настена Горностаева и будто улыбалась нам крыжовниковыми глазами, только земляничный румянец сошел с лица, и оно светилось холодной синевой, как росстанные дали в морозные дни... Ее мать, тетя Груня, все не приходила в сознание; а дед Андрюшка, сидя рядом на корточках, приговаривал: «В живот, значит, он сперва ее, чтоб мукой насладитца... Лежать нам счас в силосной яме, коли не отвлекла бы фашиста Настена... Эти золотые минуточки деревенских баб и ребятишек спасли».

У овина прогудела и остановилась пятнистая эмка, из нее легко вышел полковник в очках. Его тут же окружили плачущие женщины, перебивали друг друга, рассказывали, как фашисты гнали их на расстрел, как заставили самим себе рыть могилу.

Офицер в очках слушал внимательно, но был озабочен чем-то своим. «Не видели ли вы третий танк из тех, что шли на батарею?» — спросил он.

Показывая полковнику дорогу, мы побежали по следу гусе-

ниц, за нами едва поспевал младший лейтенант, одетый в новенький белый полушубок.

Танк будто уперся в вековую березу в километре от овина. Он был черен от дыма и копоти, весь в глубоких вмятинах, без надкрылков и с заклиненной башней.

Полковник сразу полез в танк и, как нам показалось, пробыл там довольно долго. Когда он появился снова, то обнажил голову и глухо сказал младшему лейтенанту:

— Все мертвые! Водитель тоже. . но руки — на рычагах управления, а нога уперлась в педаль подачи топлива. Наверное, давил фашистов смертельно раненный! Да-а... Если бы не он, много наших полегло бы на поле — об этой батарее мы заранее не знали.

Только тогда стало понятно, почему на ходу у танка молчали и пушка, и три пулемета: раненый водитель вел бой в одиночку.

Много позже, после войны, мне посчастливилось встретиться с тем полковником, что командовал танкистами, спасшими меня и моих односельчан в наш предсмертный час. Я рассказал ему о Настене Горностаевой.

И снова перед моими глазами вставали подробности того тяжелого дня и тех памятных минут, когда герой-водитель раздавил вражескую батарею и открыл путь нашей пехоте.

...Как и прежде, стоит вековая береза, у которой остановился тогда танк. Под шум ветвей спят танкисты, не вернувшиеся к матерям и любимым Лежит под березой красавица Настена, что не дождалась своей восемнадцатой весны.

Край наш древний, тихий. Но леса теперь на том месте нет, вокруг зреют и колышутся хлеба, и ветер разносит сладкую цветочную пыльцу. В тихие летние ночи в хлебах самозабвенно бьют перепела. Днем вокруг ствола березы, когда небеса над ней синие-синие, задумчиво качает малиновыми султанами иван-чай.

НИКОЛАЙ ФЛЁРОВ



СОПКА СОЛНЕЧНАЯ

На эту сопку я приходил и когда светло на душе, и когда тяжко. Широко расстилалась океанская даль, и точно растворялись в ней невзгоды твои, и точно делился ты радостями со всем необозримым миром.

Особенно часто я приходил сюда накануне ежегодного северного праздника. Вот, кажется, и теперь медленно иду снежной или — если промчится ветер — оголенной каменистой тропой. И когда она обрывается у океана, встречаю свою сопку. Я открыл ее давно, еще в первую военную весну. Тут растет рябинка. И ее впервые увидел весной сорок второго года крошечным стебельком. И стоит вспомнить этот хрупкий стебелек на суровой земле, который за три военных весны и лета на моих глазах вытянулся, окреп, — я уже весь в том далеком и грозном времени, оттуда ведет рассказ моя память...

Будто снежные глыбы, что окружили сопку, подступают ко мне мысли о минувшем. И прежде всего о Володе Малышеве. Это не только потому, что он прошел через всю мою жизнь, — от детства, когда плавали наперегонки в бухте, лазали в соседские сады за шелковицей, до севера, где снова нашли друг друга...

Смотрю на вершины синевато-белых скал и замечаю: с каждым днем они розовеют, точно откуда-то изнутри осеняет их

таинственный свет. Так продолжается несколько дней. Но наступает один, незабываемый, и уже накануне я могу сказать: праздник завтра! — потому что вершины вдали и небо над ними и даже снежная долина — все стало розовато-синим, почти красным, и только еще непонятно, отчего это.

К наступающему «завтра» я тщательно готовлюсь. Парадных нарядов нет у меня, но пуговицы на шинели надраиваю так, как не надраивал и в свои краснофлотские годы перед увольнением на берег, а звездочка на эмблеме, аккуратно прикрепленная к черной кожаной шапке, блестит светом, близким к тому, зовущему меня сейчас на сопку.

И праздник наступает.

Над розовым, потом красноватым, а потом уже и огненным горизонтом показывается кусочек тлеющего угля. Иначе не скажешь. Солнце?.. Да. Маленькая частичка, кусочек солнца. И настолько он мал, что и солнцем трудно назвать, потому и кажется — это кусочек угля, кусочек огня, горящий великим светом.

Так после месяцев полярной ночи приходит к нам солнце. Я наблюдаю приход его с примеченной мною сопки, где растет рябинка. И потому прозвал ее сопкой Солнечной.

Однажды я задержался здесь дольше обычного. Знал: это солнце весны 1945 года будет солнцем нашей Победы. И тут же словно острый темный луч прочертил красное небо, и до боли тяжкая мысль ударила по сердцу: «А как же Володя?..» И потому, что уже солнце пришло, а его нет, память возвратила к событиям сорок четвертого года.

Володя тогда вернулся из похода. Мы пошли с ним на сопку Солнечную. И тут он сказал, что списался с Машей, они окончательно решили: Маша с сыном Сережей приедут сюда из Свердловска первого ноября.

— Возможно, я уйду в конце месяца в море, — сказал тогда Володя. — Если вовремя не вернусь, — встретишь. Записка на этот случай и ключи будут тебя ждать. И хорошо, если свяжешься с Геной...

Так вспомнил я и Геннадия. Сначала подумал, как это все удивительно вышло, что довоенные соперники — курсант ленинградского военно-морского училища Володя и студент Гена, которые, собственно, из-за Маши познакомились и воевали за ее сердце, встретились вдруг на Севере. И другое еще изумляло меня: человек, по сути, гражданский, полярник Гена в роковую минуту, став буквально лицом к лицу с врагом, не дрогнул в открытой схватке и победил. И я опять увидел этого большого рыжеволосого и веснушчатого парня, прибывшего к нам из Архангельска и сразу пришедшего к Володе.

Он рассказал, как ушел утром из домика полярной станции, а когда к вечеру возвращался, на него набросились фашистские

автоматчики. Гитлеровцы — при них был переводчик — долбили одно: «Где проходят конвои?» Оказалось, в районе станции высадился десант с фашистской подводной лодки, чтобы помогать перехватывать и топить наши конвои.

— Я думал только об одном, — рассказывал нам Гена, — надо бежать, бежать во что бы то ни стало — по снегу, по воде, по льду, хоть ползком, — как угодно, но бежать и предупредить флот: ведь о том, что станция захвачена фашистами, наши могут не знать. Когда настала ночь, меня даже не заперли — куда, мол, отсюда уйдешь?! И я ушел. Увидел фашистского часового — что делать? Чувствую — фриц сейчас обернется, и все пропало. Секунды терять нельзя. Ну и набросился я на него, автомат из рук выбил, схватил за горло... В общем, освободился от него и вперед, вперед, лишь бы не догнали, и все снега, снега. Но, видите, дошел...

Вот тебе и скромный увалень Гена, почти без боя отдавший когда-то любимую девушку... Впрочем, возможны ли тут сравнения?..

И опять Володя, Володя не выходил из головы. И опять, в который уж раз, вся картина тех военных осенне-зимних дней вдруг вновь встала передо мною со всеми подробностями: ничего не забыл и не смогу забыть никогда.

Я ввалился тогда в свою комнату в главной базе, вернувшись из Киркенеса после наступления. Чертовски устал, преодолев десятки километров, а к тому же еще все эти две или три недели были артиллерийские и минометные обстрелы, бомбежки, переходы по минированным дорогам в море, гранитные тропы.

В дверной ручке я обнаружил записку: «Ушел в море. Встреть Машу. Оставляю ключи». Я прочитал это машинально и завалился спать. Потом были корреспондентские отписки, заседания, дежурства. Я забыл обо всем на свете и о том, что скоро первое ноября, когда должна приехать Маша с сыном, как вдруг посреди обычной этой суматохи раздался телефонный звонок из подплава, от начальника политотдела бригады:

— Можешь сейчас зайти ко мне?

— Могу, если срочно.

— Срочно, не срочно, но хорошо бы сейчас.

В голосе начальника политотдела я уловил нотки беспокойства. Цель приглашения он открыл не сразу. Стал говорить, что с моря должна прийти подводная лодка, что она была в тяжелом бою, потерпела аварию, может, не все там живы...

— Что-нибудь с лейтенантом Малышевым? — спросил я тревожно.

— Этого пока никто не знает.

Тяжкие часы переживала вся бригада подплава. Ясной картины происшедшего никто не знал. Только на следующий

день, когда в гавани прозвучал выстрел возвращающейся с победой подводной лодки и командир доложил о походе комбригу и командующему, узнал и я о происшедшем в море.

Все началось обычно. Лодка ушла на позицию. Ждали. На второй день обнаружили транспорт и сторожевые корабли. Атаковали. Командир успел заметить, как фашистский транспорт тяжело осел кормой, стал почти вертикально и точно провалился. Больше наблюдать не пришлось — сторожевики начали преследование. Тут и случилось непредвиденное: уклоняясь от глубинных бомб, лодка ударилась носовой частью о подводную скалу. В отсек стала поступать вода. А всплыть нельзя — наверху фашистские корабли.

Володя был в соседнем отсеке. Он доложил в центральный пост, что принимает на себя командование, и понял, что наступил главный миг в его жизни. Если не остановить поступление воды, это затруднит или сделает невозможным всплытие. Значит, надо создать воздушное противодавление, стравливая воздух из торпед. И пусть даже давление поднимется до крайних атмосфер (говорят, больше шести человек не выдерживает), лодка всплывет и без их помощи, и даже без них...

Люди отдавали борьбе последние силы. В темноте, в холодной воде надо было произвести сотни манипуляций — и все это на ощупь, все с предельной точностью. Иногда, будто из другого мира, возникал голос командира из центрального поста, и Володя отвечал: «Сделаем!», «Сумеем!», «Выстоим!» Теперь, после нескольких часов борьбы с водой и темнотой, после того, как заметно было уже, что уровень воды понижается, у всех полегчало на сердце. А когда посмотрели на манометр и увидели, что стрелки стоят на цифре девять и это далеко за смертельным порогом, тут только и вспомнили о нем. А ведь все были живы! И думали сейчас о том, что снова увидят море, глотнут свежего воздуха, вернутся с победой...

Наступил момент всплытия И тут судьба уготовила подводникам страшное испытание. Медленно всплыть оказалось невозможно. Чтобы спасти перегруженную, поврежденную лодку, надо было разом продуть главный балласт. Корабль стремительно пошел вверх. Воздух с шипением, шумом и свистом вырвался наружу. Резко упало давление. Они поняли, что сейчас произойдет, но предотвратить беды уже не могли: всех свалила кессонная болезнь. Может, оттого, что больше других и волновался, и работал, Володя потерял сознание одним из первых. Он упал на руки слабеющих товарищей.

Когда подводная лодка возвратилась в базу, всех доставили в госпиталь. Долгие часы Володя находился между жизнью и смертью. Он сам не понимал этого: с той минуты, когда невидимое, огромное, темное, будто навалившееся сразу на все тело сдавило его всего, сжало в комок точно в гигантской ладони, он так и не приходил в сознание.

Двадцать девятого октября Володи не стало.

А на следующий день пришла телеграмма: «Встречай первого вагон пять Маша».

Стоя на вокзальной площади в Мурманске в ожидании поезда, мы с Геной думали о том, какие найти слова, как их сказать. Не помню, что говорили, что придумывали мы в ответ на простое и естественное Машино: «А где же Володя?» Помню только, что по нашим невразумительным ответам, а главное, по лицам, которые сами обо всем говорили, Маша начинала догадываться, что случилось несчастье. Помню глаза ее, такие же темно-карие, как у Володи. Сейчас только горели они огнем радости, но, не увидев на платформе того, кого искали, погасли, а вскоре точно затуманились, стали неживыми.

Начальник политотдела, человек, много повидавший горя и смертей, сказал ей прямо:

— Мария Сергеевна, дорогая, мужайтесь. Война. Володи нет больше с нами.

Машу я видел часто, приглядывался к ней, замечал много общего у нее с Володей. Молчаливая — это, правда, объяснялось обстоятельствами, — энергичная (начальник политотдела привлек ее к работе, и она вся отдалась делу), она казалась и суровой. Я ощущал на себе ее взгляд, как бы говорящий: «Вот вы все ходите, работаете, воюете, а его нет, нет, нет...» Порою взгляд этот казался безразличным, идущим вроде бы мимо тебя, но и тогда мне казалось, он говорил: «Ну что же, раз его нет, то и вас всех для меня нет, нет, нет...» И мне, право, иной раз казалось — я виноват в том, что хожу, работаю, служу, а Володи нет и никогда не будет. Но мысли эти скоро проходили — ведь я ни в чем виноват не был, да и самое неестественное в нашем существовании — смерть, странно сказать, становилась на войне делом обычным.

К тому времени, когда погиб Володя, в какой семье не получили похоронок, не потеряли родных? Смерть Володи была одной из миллионов смертей, горе Маши — миллионной долей общего горя, хотя ей от того не становилось легче.

Не забуду, как в первые дни, когда мы однажды проходили около причала, она, глядя на море и обращаясь ко мне, тихо сказала: «Как я любила море, как рвалась сюда... Я его ненавижу!..» И мне показалось, что при этом она погрозила рукой той самой любимой сопке моей, сопке Солнечной, откуда открывался вид на океан. А в другой раз, немного успокоившись, переборов себя, сказала в манере Володиной короткой рубленой фразы, глядя на спящего Сережу: «Ради него только... Больше у меня нет никого... ничего...»

А вскоре Маша вместе с Сережей и приехавшим из Архангельска Геной пошла со мною на сопку Солнечную. Странно, но Север, принесший Маше страшное горе, скоро завоевал ее

сердце, он словно хотел загладить свою вину и открывал перед нею подлинные красоты. Под этим холодным солнцем, светящимся в розово-серых гранитах скал, в лиловой голубике и в иссиня-темной воде залива, отогревалась ее душа. Она полюбила и рябинку, растущую на сопке, и открывающийся взору океанский простор. Маша теперь не повторяла своих слов о ненависти к морю, и — больше того — рассказала мне, как сама в детстве в Ленинграде полюбила море, и, может быть, поэтому отдала предпочтение флотскому — курсанту Володе. Она поведала удивительную историю о том, как Сережа родился на корабле, в море. Это было, когда Маша, не получавшая никаких известий о Володе, с одним из последних кораблей уходила из объятого пламенем и дымом Севостополя. Тяжелораненый капитан-лейтенант сказал тогда, поздравляя ее: «В море родился. Быть ему моряком...».

Я замечал, как снова крепнет родившаяся еще в школе дружба между Геной и Машей. Сережка привязался к полярнику и готов был бесконечно слушать его рассказы о снегах и белых медведях. Окружавшая нас ледяная пустыня с каждым днем все больше отогревалась. Реже набегали заряды с норда. Чаще сияли снега на вершинах, точно предупреждая о том, что скоро разольются водопадами и ручьями.

А потом, наконец, показалась из-под снега и моя рябинка на сопке Солнечной. Юная и неодолимая, как сама жизнь.

Если бы можно было знать тогда, что именно сопка Солнечная, сдружившая нас, четверых, войдет в нашу жизнь и судьбу, и через много лет мы трое — Маша, Гена и я — будем стоять на этой сопке и смотреть отсюда, как в первый свой океанский поход на новой подводной лодке уходит молодой лейтенант Сергей Малышев по тем же дорогам, по которым в годы войны прошел его отец-подводник...

Но я не мог знать этого в ту пору. Я мог лишь думать, мечтать и благодарить рябинку свою, эту сопку и это солнце за светлые мысли в ясный полярный день.

ГРИГОРИЙ ЖУЧКОВ



СОЛОВЬИ

Стояла зима сорок пятого года. Казалось, не успевало взойти солнце, как уже надвигались сумерки: низкая облачность, смешиваясь с дымом пожаров, укорачивала день. Но боевая работа была горячей: мы непрерывно вылетали на поддержку наших войск, закрепившихся на плацдарме.

Однажды после массированного бомбового удара по гитлеровцам, засевшим в укрепленном городе, наша девятка штурмовала огневые точки. При выходе из атаки мою машину внезапно подбросило взрывом, и я словно очнулся, как бы впервые увидев горящий город, а над ним — огромное «колесо» краснозвездных ИЛов. Самолеты один за другим пикировали из круга на фашистские танки и орудия, укрытые в развалинах домов, били по ним «эресами», стреляли из пушек.

Занимая свое место в кругу штурмовиков, я заметил, как товарищ мой Данила Гуляко резко бросил машину на дом, из которого высверкивали хвосты пламени, — это по нашим танкам стреляли «фаустники». Через миг после удара Данилы крыло дома стало разваливаться, оседать, словно уходя в землю, обволоклось пылью...

Вслед за Данилой в атаку бросился его друг Георгий Бакрадзе; из-под его машины с голубой семеркой на хвосте молниями сверкнули снаряды. На земле вскипело бурое пламя, взметнулся черно-огненный вихрь.

Не успел Георгий «вынырнуть» из атаки — задымил самолет Гуляко, качнувшись, пошел в глубь вражеской территории. Страшная догадка мелькнула в сознании: Данила, очевидно, ранен и потерял ориентировку или не справляется с поврежденной машиной.

Боеприпасы и горючее у нас были на исходе, и в наушниках раздался хрипловатый голос командира:

— Выходим из боя!

Бакрадзе бросился на помощь другу, их самолеты удалялись... Внезапно в наушниках шлемофона отчетливо зазвучал мотив «Сулико». Его услышали и наши истребители прикрытия, устремились на песню, как на сигнал бедствия.

С земли непрестанно били по нашим самолетам, и я, беспокоясь за своего молодого ведомого младшего лейтенанта Веселова, все время следил за ним. А он вдруг нырнул на зенитку, точно ударил последним «эресом» и, словно подброшенный, тут же занял свое место в строю. «Молодец, Веселов!.. И в небе похож на погибшего нашего соловья Михаила Тарасова...»

Мысль моя оборвалась, потому что в тот момент в разрывах дыма и туч снова появились самолеты лейтенантов Гуляко и Бакрадзе. Георгий осторожно подходил к самолету товарища, который медленно терял высоту. Он словно хотел поддержать своим крылом друга.

А потом, выйдя чуть вперед, стал медленно отворачивать, и — чудо! — Данила пошел за ним... Они летели так близко, что, казалось, срослись в один странного вида двухфюзеляжный самолет... Даже вражеские зенитчики на минуту прекратили стрельбу. Похоже было, что и Георгий ранен, но он упорно вел за собой друга, уводил от огня в сторону линии фронта. Над ними разгорался ожесточенный воздушный бой — краснозвездные истребители не давали «мессерам» добить израненные штурмовики, летящие сквозь дымные облака...

Я уже не помню, сколько времени это длилось: друзья то появлялись, то исчезали из моего поля зрения, снизу снова били зенитки, и вокруг вспухали шапки разрывов, мельтешили пулеметные трассы. Затем все потонуло в густом дыму. И мелодия «Сулико» пропала.

Я оглянулся на Веселова. Он качнул крылом: мол, все в порядке, держусь! «Молодец, Веселов! Выдержал первый трудный экзамен...»

Он недавно появился у нас в эскадрилье, невысокий, хрупкий на вид. Чуть застенчиво представился командиру:

— Младший лейтенант Веселов.

Здесь же находились неразлучная боевая пара — Данила Гуляко и курчавый Георгий, а также черноглазый веселый летчик Михаил Тарасов. Всех нас заинтересовал младший лейтенант: ведь с ним ходить в бой.

— Можете звать меня просто Веселым, — сказал он, когда мы знакомились. — С детства так кличут.

— Веселый, значит? А петь-плясать можешь?

— Могу! И не только петь-плясать, — новенький тут же просвистел, да такую трель вывел, что мы ревниво посмотрели на Михаила.

Вспомнилось: прошлой ненастной осенью, в нелетную погоду, я проснулся вечером от толчка соседа:

— Чем храпеть, послушай!

Я сонно хмыкнул: «Соловья не слыхал?» — и натянул на голову одеяло. Сквозь дремоту все же слышал, как под окном льется соловьиная трель.

— Какой соловей? — послышался голос Георгия. — Смотри: снег летит.

Я скинул одеяло, приподнялся на локте. За окном плыла низкая, серая облачность. В комнате стоял сумрак, но чувствовалось, что никто из ребят не спит. Затаясь, слушали соловьиную трель. Спросонок я не мог сразу сообразить: откуда такое чудо глубокой осенью?

А за окном, после соловьиного раската вначале тихо, затем набирая силу, зазвенел жаворонок. Его песня возносилась все выше и звонче. Казалось, взошло солнце, и его лучи ударили в окна нашей комнаты.

Трель оборвалась. Вскоре в комнату вошел Михаил с мокрой плащ-накидкой на плечах. Видя, что друзья не спят, он засмеялся:

— Еще зимы не было, а вы уж по весне соскучились.

После того случая, когда надо было собрать эскадрилью, командир часто говорил:

— А ну, Тарасов, посвисти соловьем!..

Однако Михаил был не только мастером художественного свиста. Летать с ним в паре можно было не оглядываясь: и не отстанет, и, если надо, надежно прикроет. Мы любовно звали его «Соловьем-разбойником».

В момент знакомства Тарасова с Веселовым мы ждали с интересом: как он отнесется к новоявленному конкуренту? Михаил вдруг улыбнулся и протянул руку:

— Если командир разрешит, готов взять в напарники. Споемся.

Спеться они не успели. С КП взлетела ракета, и мы бросились к своим самолетам. Тарасов, на бегу застегивая шлемофон, прокричал:

— Не грусти, Веселый, скоро вернемся!

Тарасов не вернулся. На самолет командира, атаковавший головной танк вражеской колонны, набросился «мессер». Михаил кинулся наперерез, но красный веер трасс прошел ниже фашистского истребителя. Машины стремительно сближались, и

Тарасов, не отворачивая, резко бросил вверх свой ИЛ, плоскостью, как бритвой, срезал хвост «мессершмитту». Сам он был вынужден сесть на нейтральной полосе. Мы видели, как фашисты тут же обрушили на него шквал огня...

После посадки я отвез в санчасть раненного в бою летчика и там же встретил Ивана Веселова: он прибежал в надежде увидеть Тарасова. Мне было не до Веселова, и он это понял. Я отправился искать командира звена. Тот сидел под сосной на краю аэродрома, и мне показалось, когда подошел, что командир украдкой смахнул слезу. Мы с минуту молчали, чувствуя, что от слов легче не станет. Сзади хрустнуло. Мы обернулись. В трех шагах от нас стоял Веселов. Подошли и Георгий с Данилой. Тогда командир тихо сказал:

— Нет больше нашего соловья.

Кажется, лишь в тот момент мы со всей силой ощутили тяжесть утраты. Прежде, когда кто-либо уходил в особо опасный полет, Михаил к моменту возвращения товарищей, если оставался на земле, начинал тихо насвистывать любимые песни улетевших. Вначале мы на него сердились: тоску, мол, нагоняешь. Но летчики всякий раз возвращались с заданий живыми, словно тихие эти мелодии помогали находить безопасный курс в огненном небе, словно отводили снаряды и пули, и мы поверили в счастливый талант Михаила.

И вот теперь мы теряли Данилу Гуляко и Георгия Бакрадзе. В дымных облаках я с трудом различал ближние самолеты. Подбитой отставшей пары не было видно, и мы не могли искать их — горючего оставалось в обрез. И знакомая песня в эфире больше не повторялась...

Мы еще выбирались из машин, а техники уже осматривали самолеты.

Мне вдруг почудился знакомый мотив. Тревожно оглядываюсь и замечаю своего ведомого. Лишь теперь догадываюсь, что это Веселов тихонько и печально насвистывал любимый мотив отставших друзей. Живы ли они?..

Нам навстречу быстро идет командир звена, на щеке его кровь — задело осколком.

— Такой тяжелой штурмовки у нас еще не было, — говорит он. — Но и фашисты запомнят!

Наверное, он тоже слышал грустный мотив «Сулико», потому что тут же сказал:

— Не надо грустных песен, Веселый. Такие запросто не сдаются. Они еще повоюют!

Мы все разом вздрогнули: почудилось—на лесной опушке, за хвостом укрытого ИЛа, щелкнул и залился соловей. Мы слишком хорошо знали эту трель и, наверное, бросились бы на звук, но не успели. За краем аэродрома, над самыми деревьями, возникли летящие крыло к крылу два штурмовика.

ЮРИЙ ПАХОМОВ



Я ПОМНЮ, ОТЕЦ!

Полуобвалившийся окоп, в котором лежали мы — первое отделение первого взвода, — время уже принялось сглаживать. Профиль окопа зарос голубикой, а на дне в полный рост стоял хрусткий, прохладный папоротник. Над головой цвиркали птицы. По моему карабину деловито бродил муравей.

Впереди, где сквозь редколесье проглядывали лысые песчаные дюны, скрывались коварные «диверсанты». Приклад карабина холодил плечо. Мы ждали команды.

Мы, такие разные еще совсем недавно, теперь представляли одно целое, отделение, боевую единицу. Мы были как патроны в обойме.

Впереди чернело высохшее болото с уродливыми лохматыми кочками и ржавой осокой по краям — нам предстояло броском преодолеть это пространство, обойти «диверсантов» с тыла и прижать к заливу.

От болота тянуло удушливой гнилью. Я не люблю болот. В Пинских болотах погиб мой отец.

Среди многих огорчений, доставшихся моему поколению, самое горькое то, что мы выросли без отцов.

...Теперь я старше тебя, отец.

Мне сорок. Когда ты погиб, тебе не было и тридцати. Стар-

ший политрук, одинокая шпала на черной петлице танкиста. Ты уходил навсегда в сторону штаба, где красноармейцы торопливо жгли на костре документы, а в небе, падая, догорал наш «ястребок». Ты уходил навсегда от машины с беженцами—старухи, дети, женщины из-под Белостока, — уходил от скамейки, на которой рядом с нами сидела безумная мать, баюкающая на руках обломок доски. У нее на глазах погиб ребенок, и обугленный обломок доски казался ей ее Игорьком. «Игорек... Игорешенька, — твердила она, горячечно приборматывая, — тебе не больно?»

...А какой вселенской тоской проникнуто твое последнее письмо, написанное уже в Пинских болотах, перед окружением, — ведь ты погиб с горьким сознанием того, что нас накрыло во время бомбежки на мосту через речку Мухавец.

И я представляю, как ты писал, сидя на пне, а вокруг жирно чавкало и пузырилось болото. Мне это снилось много раз.

Знаешь, отец, я не верю, что память о близких умирает вместе с нами, вместе с нашей памятью, нет, просто память миллионов становится общечеловеческой памятью.

Я старше тебя, отец, наверное, оттого я так легко представляю тебя молодым. У нас в семейном альбоме есть чудом сохранившийся снимок: ты бодаешься с козой. А рядом стоит девушка, почти девочка — моя мать. И смеется. Я никогда потом не видел, чтобы она так смеялась. Тот день был днем вашего счастья. А есть фотография, где ты с усами, — это в год, когда я родился, и ты сам себе казался слишком уж молодым для отца, потому ты и отпустил усы.

В те времена ты носил комсомольскую блузу, бумазейные брюки и мечтал учиться, стать инженером-электриком. Но нужно было строить Магнитку и Кузбасс. И еще — укреплять армию. Потому что «тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой». Ты ушел служить...

Помню я тебя как-то общо — память пятилетнего ребенка не в силах удержать многие детали. Я помню зеленую поляну, усеянную одуванчиками, ты берешь меня на руки, и я ощущаю запах ременной кожи — так пахнет твоя портупея. Или, например, солнечное утро, запах мастики, которой натерли полы, и долгожданный плюшевый медведь с плиткой шоколада, привязанной к ворсистой спине.

Странно, но комнату, в которой мы жили в Кобрине, я помню хорошо: узкую, сумрачную, с разноцветными, как в костеле, окнами. Две детали особенно прочно вошли в память: твой командирский планшет на стене и «тревожный» чемоданчик у печки. В этом чемоданчике было все на непредвиденный случай: шоколад, лекарства, теплые вещи, деньги.

И еще помню тихую, спокойную речку Мухавец, в которой отражалось безмятежное небо 21 июня сорок первого года, а на

другой день, ровно в четыре утра, взрывом выбило цветные стекла.

Тот день, первый день войны, как бы распался на несколько частей, и потом, много лет спустя, мне казалось, что было несколько разных дней, наполненных ощущением беды.

...Нет, отец, мы не погибли на мосту через речку Мухавец, ты все же успел прикрыть нас. И наша победа началась в ту самую минуту, когда в канаву кувырком летели вражеские мотоциклисты, срезанные твоей пулеметной очередью.

Мать рассказывала, что ты был веселым и добрым. И любил играть на мандолине. Может, поэтому звук мандолины вызывает во мне томительное чувство тоски. Что делать, я рос без тебя, а это значит, рос наполовину один, меченный горьким русским словом сирота, и от этого никуда не денешься.

Может, поэтому я с таким ожесточением отношусь к отцам, которые в наши мирные времена бросили своих детей. Я ведь мог с гордостью сказать: мой отец погиб на фронте. А что скажут они?

Я был сыт, одет много лучше других, и все-таки чубство сиротства постоянно жило во мне. Да и сейчас живет.

Знаешь, ощущение утраты пришло не сразу. Пока была война — ты жил, ты продолжал жить там, среди разрывов и свиста пуль, и не о тебе ли, не о твоих ли друзьях каждый день говорилось в сводках Информбюро.

Ощущение утраты пришло осенью сорок пятого, когда я уже бегал в первый класс, бегал по узенькой, поросшей цепкой травой улочке имени 9 января и уже возвращались с войны солдаты.

Ощущение утраты пришло тихим и гулким вечером, когда по улочке плыл дым — в садах жгли ботву и листья. И в счастливых домах, куда вернулись солдаты, пели: «Ой ты Галю, Галю молодая»...

В одном из домов гуляли широко. Столы вынесли в сад. А посреди веселья, песен, слез сидел солдат, самый обыкновенный солдат. Уже немолодой, какой-то весь усталый и выцветший, точно старая фотография. Он был один, а по обе стороны стола молча стояли солдаты, убитые на войне. Они словно стояли рядом с тем победным столом. Все сразу. Солдат пил и кивал им, вспоминая то ржавый огонь под Смоленском, что полз по снегу, как заклятие, то дымную пустоту сожженного костела в Кракове,то голубиное трепетание флага над рейхстагом. Солдат пил и тайком смахивал слезы, которых никто не видел. Солдат был победителем. А разве победители плачут?

И тут солдат увидел меня. Я стоял у забора, согреваясь в тепле чужого счастья, я стоял, худой, вихрастый, в вигоневых брючках и чистой, праздничной рубашке, точно я торопился на встречу с тобой, отец. Солдат отодвинул стакан и каким-

то удивительным голосом, пробивая хмельные голоса, стук ножей и вилок, сказал: «Сядь рядом, сынок».

Я подошел и сел рядом. И никто не удивился. Мне положили в тарелку еду, налили морса в стакан и сказали: «Ешь». А когда я стал есть, торопливо сглатывая и не ощущая вкуса пищи, все заплакали, потому что я был сыном солдата, не вернувшегося с войны.

«Ничего, сынок, вырастешь», — сказал мне солдат и погладил рукой по голове.

И тогда я понял — тебя убили.

И увидел, как это произошло. Ты выводил остаток бойцов из окружения. Десять дней вы блуждали по Пинским болотам, голодные, оборванные, черные от тоски и порохового дыма, униженные мыслью, что вы не там, где погромыхивают орудия, а в тылу врага, отрезанные от своих. А болота дышали, постанывали по ночам и жирно, плотоядно причмокивали. И смысл теперь заключался в одном — прорваться к своим, прорваться с боем.

Тебя и убили в священный момент атаки, и когда пуля пробила сердце, в угасающем сознании возникло сразу много картин: рожь, Волга, женщина — твоя жена и я. Странно, ты увидел меня взрослым, сорокалетним, с незнакомыми погонами подполковника медицинской службы и успел кивнуть мне.

Знаешь, отец, теперь я стал внимательнее приглядываться к старикам — твоим ровесникам, рожденным в 1913 году.

И когда они, небрежно, по-стариковски одетые, стоят в очереди в магазине и ворчат, что кефир не свежий, я не сержусь на них, нет. Потому что вижу на их старческих плечах выгоревшие гимнастерки с петлицами, потому что убежден: если вновь Родине станет трудно, у выщербленного военкоматовского стола вырастет очередь стариков ополчения — самого грозного войска страны...

* * *

Птицы умолкли. По цепи покатилось тягучее:

— Мелкими перебежками, вперед, марш!

И я побежал через болото, а навстречу, из кустов, беспорядочно застучали выстрелы. «Диверсанты» не дремали.

Я бухнулся в жесткую осоку, не целясь, начал стрелять, и сразу же заныло плечо от отдачи, и запахло настоящим порохом, войной, длинными очередями у хлебных магазинов, спичками, которые нужно покупать поштучно, кукурузной похлебкой, чужой ношеной одеждой.

Да, саму жизнь, весь этот мир надо уметь защищать от огня — огнем.

* * *

...В то время, как мы шустро бегали кроссы по лесным тропинкам, бросали из неглубоких окопчиков учебные гранаты, лазали под колючую проволоку и «рубили» под барабан на

плацу строевую — там, в осеннем Ленинграде, нас ждали пустые, остро пахнувшие краской аудитории, анатомичка, любимые профессора, о которых уже при жизни сочинялись легенды. Ждал и сумрачный памятник Великому Хирургу.

Еще предстояло ощутить на рукаве приятную твердость серебряной «галочки» — свидетельство того, что мы стали курсантами первого курса.

Пустынна была аллея перед анатомическим корпусом. Ветер сшибал с деревьев желтые листья. А в осенней гулкости уже слышались слова военной присяги. Присяга на верность Родине еще заучивалась наизусть, но близился день и час, когда слова прозвучат в сыроватом воздухе аллеи.

Все еще будет.

И день этот неумолимо приблизит меня к другому дню, когда на койке будет разложено новенькое, радостно пахнувшее утюгом офицерское обмундирование: шинель и парадная тужурка, рыхлая стопка сорочек и даже изящный белый кителек с разрезами сбоку. А на черном габардине будет отливать золотом кортик — неистребимая мечта мальчишек и даже мужчин.

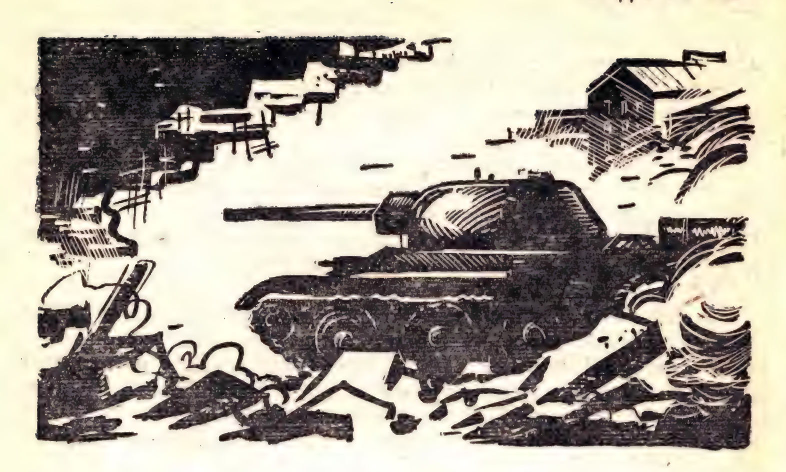
Потом я буду идти по залитому розовым светом проспекту, а мимо будут проноситься трамваи, автобусы и такси, забитые поблескивающими никелем и позолотой новоиспеченными лейтенантами. И в дымке над парком Победы мне вдруг привидится всадник в остроконечной буденовке и длинной кавалерийской шинели, прекрасный и юный на фоне серебряных облаков.

Мы будем стоять и слушать напутствия «Великих Старцев» — на трибуне выстроится история отечественной военной медицины — и в воздухе запахнет дымкой походных кухонь, карболкой сыпнотифозных бараков, и, точно стая птиц, пронесется над нашими головами многомиллионный вздох облегченного страдания.

И мы постареем на глазах, вбирая в себя будущие шторма, завьюженные дороги, напряженную тишину отсеков подводных лодок, где на обычном обеденном столе будет лежать друг, которого только ты можешь спасти. Мы будем стоять, примеривая на себе будущие двадцать лет, лейтенанты с новенькими погонами, еще без единой медали на парадных тужурках, и какая-то старая женщина в толпе у трибуны вдруг громко заплачет.

А вечером состоится бал, и старый профессор с глазами мудреца поднимет тост за «альма-матер» и дрожащим голосом запоет студенческую песню давних времен.

АНДЖЕЙ ЗБЫХ



СХВАТКА

Советские телезрители хорошо помнят героя многосерийного польского фильма капитана Клосса. Фильм этот был поставлен по повести известного польского писателя Анджея Збыха. Мы предлагаем вниманию читателей отрывок из повести А. Збыха «Осада», который на русском языке печатается впервые. Отступающие фашисты яростно пытаются удержать один из приморских городов, в котором работает секретный военный завод. Судьба забрасывает капитана Клосса в этот город, осажденный советскими войсками и действующей в их составе польской дивизией. По поручению Центра капитан Клосс пытается спасти рабочих завода из числа военнопленных, которых гестапо решило уничтожить, а предприятие взорвать. Через польскую девушку Басю, служанку научного руководителя завода профессора Глясса, Клосс связывается с самим профессором, сообщает ему, что сын профессора взят в плен советскими войсками, жив и советует отцу перейти на сторону антифашистов. Глясс соглашается помочь спасти жизнь рабочих и предприятие. На заводе готовится вооруженное восстание, которое должен возглавить польский патриот-антифашист инженер Левон Кролль. Однако его брат Альфред Кролль выдает гестаповцам план восстания. Профессор Глясс таинственно исчезает. На завод врываются эсэсовцы. Клосс, не зная о грозящей опасности, вместе с радистом сержантом Косеком, под видом эсэсовцев направляются на завод, чтобы возглавить восстание.

Было уже около двух часов ночи, когда Клосс подошел к окошку комнатки Баси. Вилла Гляссов была погружена в темноту, на улице — тихо и безлюдно. Сержант Косек, все еще в мундире эсэсовца, остановился около дома.

Девушка уже ждала их.

— Все в порядке, — сказала она. — Я разговаривала с Ле-

воном, передала ему все распоряжения. Они будут готовы к половине третьего, как договорились.

— На заводе была? — спросил Клосс.

— Нет. Мы встретились у пролома в стене.

— За вами никто не следил?

— Нет, — ответила Бася. — Думаю, что нет.

Клосс посмотрел на часы.

— Наши уже должны начать, — тихо проговорил сержант.

— Надеюсь, ждать осталось недолго, мы их скоро услышим, — ответил Клосс и замедлил шаги.

Хорошо ли подготовились там, на заводе, к выступлению? Именно в эту минуту Клосса охватило сомнение, он подумал, не стоит ли появиться на заводе чуть раньше. Ему вдруг показалось, что он совершил какую-то ошибку, что-то упустил из виду...

— Кто тебе сообщил, — обратился он к Басе, — о плане эвакуации завода?

Девушка уже не скрывала имен:

— Мастер Ян Кролль.

— Немец?

— Да, но польского происхождения.

Какая жалость, что было так мало времени! «Нет даже возможности встретиться с этим Кроллем, поговорить с людьми на заводе», — подумал Клосс.

Бася вела их какими-то закоулками. Потом они вышли на узкую улочку, тянувшуюся вдоль заводской стены. Было по-прежнему тихо, и эта зловещая тишина начинала беспокоить Клосса. Небо немного прояснилось и на севере, над морем, казалось теперь совсем белым.

— Косек, — сказал Клосс, — отстань на несколько шагов и, если случится что-то непредвиденное, действуй по обстановке.

— Слушаюсь, пан капитан.

Все трое остановились, наблюдая за входными воротами. Тишина, ни следа охраны.

— Все в порядке, — вздохнула Бася. — Пойдемте... Они убрали охрану, как договорились.

— А где же они? — тихо спросил Клосс. — Их не видно у ворот. Может быть, ожидают в проходной?

Надо было торопиться. Клосс расстегнул кобуру. И в тот самый момент, когда он вместе с Басей подходил к караульному помещению, из-за кустов, растущих вдоль дороги, выскочили эсэсовцы.

Клосс не успел даже выхватить пистолет — удар приклада свалил его на землю... Затрещала автоматная очередь — это открыл огонь сержант Косек. Эсэсовцы уже заполнили улицу. Трое волокли Клосса в направлении заводского цеха, двое — Басю, остальные окружали Косека, прижатого к стене. Сержант

бросил гранату. Эсэсовцы отскочили в сторону, залегли и открыли огонь. Одна пуля задела руку сержанта, другая попала в грудь. Падая на мостовую, он успел подумать, что впервые в жизни бессилен помочь своему капитану.

В дежурном помещении цеха Бруннер уже поджидал Клосса. Когда его втащили, на лице штурмбанфюрера расплылась довольная улыбка.

— Ну что, Ганс, — сказал Бруннер, — все-таки я был прав... Ты проиграл, твоя карта бита. Девчонку к стене! — крикнул он властно, даже не взглянув в сторону Баси. Его интересовал только Клосс.

— Ты, однако, порядочная дрянь, — процедил он сквозь зубы. — Ты, как крыса, что бежит с тонущего корабля. Думал спасти свою шкуру? Пошел ва-банк? Это рискованно. Клосс, очень рискованно. С какого времени им служишь? Отвечай!

Клосс молчал. Он колебался, и прошла еще минута, прежде чем он принял решение. Да, конспирация становилась излишней. Какой теперь смысл выдавать себя за немецкого офицера? В первый раз за пять лет Клосс мог выступать с открытым забралом.

— С самого начала, Бруннер, — сказал он громко. — С той минуты, как надел ваш мундир. Я офицер польской разведки. И, разумеется, — советской. Что, не верится?

В дежурке воцарилась тишина. Наконец Бруннер оправился от шока.

— Ты заплатишь за все! — зарычал он. — Но сначала выложишь мне то, что знаешь! Связь! Контакты! Агентурную сеть!

— Зачем это тебе, Бруннер? — в голосе Клосса прозвучала нескрываемая насмешка. — Через два часа сам будешь все выкладывать.

Штурмбанфюрер размахнулся, но ударить не успел. Стены дежурки внезапно дрогнули от близких разрывов. Где-то зазвенели стекла. В помещение вбежал эсэсовец.

— Господин штурмбанфюрер! — кричал он, задыхаясь. — Звонили из штаба. Русский флот и авиация блокировали порт!

Бруннер окаменел. Потом вынул из кобуры пистолет, взвесил его на ладони. И жестом пригласил Клосса следовать за собой.

«Недооценил противника, — мучительно размышлял Клосс. — Какая грубая, непростительная ошибка...»

Они расположились в кабинете профессора Глясса. Здесь было тихо, даже, пожалуй, уютно. Глубокие кожаные кресла стояли около низкого столика, рядом с сейфом. Через стеклянную стенку Клосс видел заводской цех, рабочих вдоль стен, эсэсовцев, охранявших их с автоматами на изготовку!

— Садись! — отрывисто бросил Бруннер и сам опустился в кресло. Пистолет он положил на стол и прикрыл его ладонью. — Хочешь закурить?

— Не откажусь.

— У тебя нет больше никаких шансов, Ганс. Я, конечно, восхищен тем, что ты мог так долго работать под маской немецкого офицера. Впрочем, по происхождению ты все-таки немец, не так ли?

— Я поляк.

— Не верю. Однако это не имеет значения. — В голосе Бруннера вновь зазвучали угрожающие нотки. — Думаешь, я не успею?.. И тебя... и всех их... — он сделал неопределенный взмах рукой. — В моем распоряжении еще достаточно времени. Ваши не преодолеют канал.

— Ну, и что из этого? — спросил Клосс. — Допустим, ты успееешь взорвать завод. Но и сам отсюда не выберешься. Порт блокирован. Куда ты побежишь?

Бруннер молчал. Снова послышались взрывы, уже совсем близко к заводу. Канонада продолжалась несколько минут, потом стихла, и до слуха теперь доносилась отдаленная трескотня автоматных очередей. Штурмбанфюрер нервно ерзал в своем кресле.

— Ганс, — вновь обратился он к Клоссу, — твое положение безвыходно, но... Все же мы так давно знаем друг друга... В конце концов мы принадлежим к одной и той же службе, хоть и во вражеских армиях. Неужели мы не сможем договориться?

— Ты сменил тон, это уже неплохо.

— Обстоятельства меняются ежеминутно. Я не так уж глуп...

Еще один час! Клосс понимал, что прежде всего необходимо выиграть этот час — от этого зависела жизнь тех, кто в цехе, и его собственная жизнь.

В дверях появился эсэсовец.

— Прибыли грузовики, — доложил он.

— Пошел вон! — прорычал Бруннер. — Зачем мне теперь грузовики?

Эсэсовец исчез.

— Что ты намереваешься делать с заводом? — спросил Клосс.

Бруннер усмехнулся:

— Это зависит от многих причин. И от тебя в том числе. У меня есть к тебе деловое предложение.

— Думаешь, я буду с тобой торговаться? — спросил Клосс.

— Думаю, что да, Ганс.

— Что же ты можешь мне предложить? Завод? Мою жизнь? Жизнь этих людей?

— Да, Клосс, все это. И у меня есть еще кое-что. — Штурмбанфюрер закурил сигарету и откинулся на спинку кресла.

— Ты должен предоставить мне гарантии, Ганс. Твердые гарантии. Я, конечно, знаю, что слово офицера разведки недорого стоит, но... — Бруннер махнул рукой. — В общем, я склонен тебе верить. И помни, что мне ничего не стоит застрелить тебя и разнести в щепки завод вместе со всеми вашими людьми.

— Конечно, все это в твоей власти, — сказал Клосс. — Но что будет с тобой потом? Правда, ты еще имеешь в запасе профессора Глясса. Думаешь откупиться профессором, уничтожив рабочих?

— Откуда ты знаешь о профессоре?

— Нетрудно догадаться. Инсценировал убийство, а потом где-то спрятал профессора. И ловко, и глупо.

— Возможно. А все же американцы или англичане озолотили бы меня за Глясса.

— Будь спокоен. Уже не озолотят. Мы наступаем. А для нас все люди равноценны, если они — люди.

Но все же учти: кроме меня никто не знает, где профессор... Можешь курить.

Клосс сунул руку в карман.

— Руки на стол! — заорал Бруннер.

Клосс вынул сигареты:

— Ты стал нервным, Бруннер. Твои эсэсовцы обыскали меня довольно тщательно. Как видишь, ничего, кроме сигарет. Сверхчеловеческими возможностями даже офицеры разведки не обладают — так что ничего «лишнего» утаить я не мог.

— Что-то ты слишком спокоен, Ганс... или как там тебя. Не рано ли успокоился?.. Так на чем мы остановились?

— Ты невероятная каналья, Отто. Торгуешь жизнями десятков людей, чтоб только свою шкуру спасти.

В этот момент мощный взрыв потряс заводскую стену. Послышался близкий треск автоматных очередей.

«Форсировали канал, — подумал Клосс. — Форсировали и захватили немцев врасплох!»

Зазвенели стекла, с потолка посыпалась штукатурка. Бруннер вскочил с кресла. Клосс мгновенно воспользовался этим. Со всей силой он опрокинул на гестаповца стол, схватив его пистолет:

— Не двигаться, Бруннер!

— Ты ошалел, Клосс, — испуганно пробормотал штурмбанфюрер. — Ведь мы можем договориться.

Внизу, в цехе, дважды выстрелили, послышался чей-то крик. Треск автоматных очередей, взрывы гранат становились с каждой минутой все ближе.

— Слушай, Бруннер, — сказал повелительно Клосс. — Сейчас ты включишь микрофон на письменном столе Глясса. Видишь?

— Да...

— Как его имя?

— Кролль, инженер Кролль.

— Тоже Кролль... Теперь все понятно... Прикажешь ему выключить сеть заминирования. Если ты этого не сделаешь, я застрелю тебя.

Бруннер подошел к письменному столу. Не спуская глаз с Клосса, держащего наготове пистолет, включил микрофон. Однако голос его терялся в треске автоматных очередей и взрывах гранат.

— Ничего из этого не получается, Ганс, ничего. Меня не слышат, — прошептал Бруннер — Ну, чего ты боишься? Договоримся... Завод не взлетит в воздух.

— Я не люблю сюрпризов. Где находится пульт управления?

Штурмбанфюрер не успел ответить. С грохотом открылась дверь, и на пороге возник инженер Альфред Кролль. Он явился сюда без вызова. Клосс успел отступить назад и встать за Бруннера, приставив дуло пистолета к спине гестаповца.

— Это тот самый Кролль? — шепотом спросил Клосс. — Ну, говори!

— Где находится пульт включения сети минирования завода? — спросил Бруннер инженера Кролля.

— В сейфе профессора Глясса. Но мы можем также включить сеть минирования со двора, когда будем покидать завод. Я подключил дополнительный провод.

— Немедленно уничтожьте его, — приказал Бруннер. — Выключить всю сеть минирования! — крикнул он, ощущая под лопаткой дуло пистолета.

Стены кабинета вздрогнули от нового взрыва — совсем уже близко. В окно ворвались клубы дыма и пыли. Короткие автоматные очереди затрещали во дворе. Бруннер качнулся, немного отклонился в сторону и открыл Клосса. Альфред Кролль увидел пистолет в руке человека, о котором знал, что он враг Германии, и выстрелил в Клосса.

Бруннер прыгнул в окно и скрылся в темноте заводского двора.

Альфред Кролль, не глядя уже на Клосса, подошел к сейфу, достал из кармана ключ. Клосс с трудом приподнялся с пола. Его правая рука беспомощно обвисла. Левой, превозмогая боль, капитан потянулся к лежащему на полу пистолету. Инженер вдруг оглянулся, и Клосс бросился на него. Сцепившись, они покатились по полу...

Наступающая советская и польская пехота достигла заводского двора. Серии автоматных очередей сметали эсэсовцев. Рухнула стена — в проломе показался танк Т-34. В помещении главного цеха советские и польские солдаты вместе с рабочими добивали последних сопротивляющихся гитлеровцев.

Огнивек и Левон, отобрав пистолеты у немецких инжене-

ров, пробивали себе дорогу к кабинету профессора. А там, перед распахнутой дверцей сейфа, продолжалась схватка. Клоссу удалось выбить оружие из рук инженера. Тогда Кролль в отчаянном усилии вскочил с пола и бросился к сейфу. Но, когда его пальцы уже почти коснулись зловещей кнопки, грянул выстрел. Левон медленно опустил пистолет.

В кабинет Глясса входили польские солдаты. Вбежал молодой офицер. Увидел Клосса, которого Левон и Огнивек усаживали в кресло

— Кто это? — спросил он.

Ответить ему не успели: в кабинет вошел полковник, властно сказал:

— Оставьте нас одних.

Молодой офицер не сразу понял, что полковник имеет в виду себя и раненого «немца»...

— Кажется, я могу наконец снять этот проклятый мундир, — вдруг произнес Клосс.

Полковник подошел к окну.

— Мы еще не поймали Бруннера, — с огорчением сказал он. — А надо поймать, товарищ Клосс.

...Профессор Глясс очнулся рано утром. Открыл глаза и увидел над собой низкий, плохо оштукатуренный потолок. Он лежал на жесткой кровати и силился вспомнить, как он здесь оказался. Подошел к окну, забранному решеткой. Увидел узкую улочку, из всех окон дома напротив свисали белые простыни. Услышал топот сапог. Там, внизу, проходил отряд, но это были не немцы. Они громко пели. Профессор не понимал слов. Он просунул руку через решетку и с силой толкнул оконную раму. Разбитое стекло полетело вниз на тротуар...

Перевел с польского
В. ГОЛОВЧАНСКИЙ

ИГОРЬ ЧЕРВЯКОВ

КЛЮЧИК



В учебниках по военной педагогике черным по белому написано: командир к каждому подчиненному должен отыскать свой особый ключик. Задеть человека за живое, расшевелить. Тогда он горы свернет, облака ладонью разгонит, море осушит. Только как его отыскать, этот ключик? Да еще к такому, например, парню, вроде рядового Тимофея Кадушкина?

Учится спустя рукава, службу несет ни шатко ни валко, дисциплиной не блещет, а нос, между тем, задрать любит.

— Мое призвание, — говорит, — искусство. И если бы не закулисные интриги приемной комиссии, я б теперь учился на актерском факультете, а не сидел заштатным номером у экрана станции наведения ракет. Моя мама, она у меня закройщица в театральном ателье, убеждена что я широкоэкранный талант.

Тут в монолог обычно вклинивался старшина Сандунов:

— Не знаю, как по части актерского таланта, а вот таланта просто опрятного человека у вас, рядовой Кадушкин, нет начисто. Полюбуйтесь на себя: сапоги вечно в пыли, ремень скособочился, пуговица того и гляди оторвется...

— Видали бы вы, товарищ старшина, меня, когда я прогуливаюсь по центральной улице города. Кримпленовые брюки и черная кожанка а ля синерама! Девчата липнут ко мне, как мухи к меду, — чувствуют, рыбки-птички, что я будущая звезда экрана. И если бы не козни приемной комиссии...

— Чем же вы ей не угодили?

— Предлагали мне на экзамене всякую муру, так называемые этю-ю-юды... Показать, как портной нитку в иголку вдевает! Или еще хлеще: жестами продемонстрировать подметание пола! Да я сроду иголки в руках не держал и пола не мел, я со своей фотогеничной внешностью в актеры готовился! Дай мне настоящую роль в настоящей картине, тогда и суди, чего стою! А то этю-ю-юды...

Такие разговоры частенько вел в кругу сослуживцев рядовой Кадушкин, и никакие увещевания или взыскания не помогали сделать из него исправного солдата.

И вот однажды приехал к нам в дивизион на стажировку слушатель академии капитан Ерофеев. Командир наш больше «эмпирик», к теории относился настороженно, поэтому сразу сказал Ерофееву: «Сделаете, товарищ капитан, из Кадушкина человека — поверю, что не зря два года за книгами сидели!»

Познакомился Ерофеев со своим подопечным, выслушал его жалобы на злонамеренность приемной комиссии и... на целый день уехал в клуб полка. Вскоре оттуда нагрянули к нам кинооператоры-любители со своей замысловатой аппаратурой. Капитан-стажер объявил, что будет сниматься фильм о жизни нашего дивизиона, а в главной роли выступит Кадушкин — человек, который с искусством на «ты».

— Я готов! — просиял Тимофей. — Это я запросто, солдата сыграть — это ведь не Отелло или Гамлета...

Съемки начались на плацу. Командир взвода зычным голосом подавал команды, солдаты, щурясь от ярких лучей солнечных отражателей, выполняли строевые приемы с оружием.

— Кадушкин, вас будем снимать крупным планом, — предупредил Ерофеев.

Три кинокамеры нацелились на Тимофея.

— На пле-чо! — скомандовал капитан Ерофеев.

Кадушкин резко рванул карабин вверх, задел ствольной накладкой ремень, пряжка съехала на сторону. Уши у Тимофея сделались вишневыми.

— К но-ге!

Будущий киногерой судорожно схватил оружие двумя руками, сжал и, что было сил, грохнул его вниз. Прямехонько на собственную ногу...

«Ой!» — скривился неудачник. Солдаты в строю прыснули.

— На пле-чо! Шагом марш! — опять скомандовал неумолимый Ерофеев.

Пунцовый Кадушкин зацарапал по плацу подковками сапог. От его наигранной молодцеватости не осталось и следа.

Даже операторы не выдержали:

— Ну точно рядовой девяносто первого пехотного полка Йозеф Швейк! Только без живота...

После обеда съемочная группа перебазировалась в учебный класс. Капитан Ерофеев и там предложил снимать «киногероя». Тот должен был провести занятие с молодыми солдатами у индикатора станции наведения ракет. Включили освещение, в киноаппараты зарядили новые кассеты, над головой Кадушкина повис выносной микрофон.

— Вот это... значит... экран, — без энтузиазма начал Тимофей. После длинной паузы он продолжил: — Вот эта светящаяся чира — от цели, а как ракета зашустрит — и от нее появится чира...

— Может быть, не «чира», а отметка? — язвительно поинтересовался кто-то из дошлых новобранцев.

— И ракета не «зашустрит», а стартует, — подсказал другой.

— Все едино, — отмахнулся Кадушкин. — Крутим вот это... колесико, гоним метку к чире от цели...

Стажер Ерофеев переглянулся с операторами и жестом остановил Тимофея.

Через несколько дней капитан-стажер появился в казарме с кинопроектором в руках. На стене натянули простыню, и Ерофеев включил аппарат.

Нет, долго это зрелище продолжаться не могло: присутствующие просто надорвали бы животы от смеха. Ведь на экране крупным планом являл свое умение сыграть самого себя Тимофей Кадушкин — великий артист кино с жутко фотогеничной внешностью...

Самое интересное в этой истории то, что попал-таки капитан Ерофеев в яблочко, отыскал заветный ключик. На глазах стал меняться к лучшему рядовой Тимофей Кадушкин. А главное, перестал бояться работы. Любой. И кто знает, может, в дальнейшем, отслужив, поступит-таки Тимофей в институт кинематографии и станет популярным актером... Ничего удивительного!

ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА



Служат у нас в полку два друга, два старших лейтенанта. Если на них взглянуть со стороны, то можно отметить много общего: у Ивана Штукова на кителе — значок высшего военного училища, и у Федора Алябьева такой же, у одного — знак классного специалиста с буквой «М» посередине, и у другого, Федор — перворазрядник по боксу, и Иван тоже. На стрельбище приятели также не уступают друг другу. Пули обоих никогда «яблочка» не минуют. И хобби у офицеров одинаковое — охота. Но здесь-то выступает и удивительное различие. Штуков всегда являлся с охоты, увешанный трофеями, Алябьев же, напротив, сколько ни ходил — возвращался ни с чем. И это, заметьте, в наших безлюдных местах, где вспугнутые выстрелом утки затмевают солнце, а рябчики беспрерывно носятся в воздухе.

По охотничьей традиции старший лейтенант Штуков частенько подтрунивал над другом. Тот беззлобно отбивался:

— Ну, зачем, скажи на милость, я стану убивать зайца? Что он мне плохого сделал?

Как и в каждой шутке, здесь была доля правды. Алябьев любил природу лиричной, застенчивой любовью. В отличие от Штукова, человека азартного, с избытком наделенного пресловутой «спортивной злостью», он искал на охоте тишины и уединения.

Так мирно шутили бы офицеры еще, наверное, долго, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство это имело от роду девятнадцать лет, звалось Катей и проживало в соседнем с частью поселке лесорубов. Друзья разом влюбились в красавицу так, как сорок тысяч лейтенантов-первогодков влюблены быть не могут. Конечно, каждый жаждал оказаться избранником. Неизвестность угнетала обоих, и однажды старшие лейтенанты уговорили девушку сделать выбор, чтобы определить третьего лишнего.

— Я сибирячка, — загадочно улыбнулась Катя. — У нас в роду все мужчины заправские охотники. Я отдам свое сердце тому, кто более добычлив на охоте. Согласны?

Штуков воспрянул духом, Алябьев же загрустил. Однако любовь — не картошка, и охами да вздохами здесь не поможешь. Встал лирик на лыжи, сгонял на кордон к знакомому леснику, купил у него пять битых тетеревов, скоренько примчался в ближний перелесок, закопал птиц под большой березой, а на ветви дерева посадил столько же тряпичных чучел краснобровых косачей. План был прост: не изменяя своему правилу не стрелять по живому, он собьет из ружья чучела на снег, подбежит к дереву и, выкопав настоящих тетеревов, сунет их в ягдташ. Милая, добрая Катюша, конечно же, не обидится на этот розыгрыш, когда после свадьбы он ей все расскажет.

В воскресенье неразлучная троица — Катя и ее поклонники — стала на широкие охотничьи лыжи и направилась в лес. Молодые люди скользили по просеке, как вдруг за одним из поворотов старший лейтенант Алябьев резко присел и шепотом произнес:

— Тише! Тетерева!.. Целых пять... Во-он на березе.

— Ты первый заметил, тебе и стрелять, везунчик, — великодушно махнул рукой Штуков.

Алябьев сдернул с плеча ружье и, пригнувшись, двинулся к березе, на которой неподвижно чернели силуэты птиц. Штуков и Катя, маскируясь за елками и кустами, пробирались вслед за ним. Когда тетерева были на расстоянии выстрела, Алябьев тщательно прицелился и аккуратно нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, иней посыпался с березы, но косачи сидели на своих местах как ни в чем не бывало. С новым выстрелом на землю упала только отсеченная дробью ветка. Горячась, Алябьев выбросил дымящиеся гильзы, вставил новые патроны, приблизился к дереву в полный рост, хорошо прицелился и ударил дуплетом — птицы не шелохнулись. Чувствуя неладное, Федор беспомощно оглянулся. Иван Штуков и Катя стояли за кустом и давились от хохота.

— Полезай, Федя, на дерево и топором их... нехороших! — посоветовал Штуков, от смеха валясь на гибкие ветви кустарника.

В недоумении Алябьев вскарабкался на дерево к своим ч...

челам и только тут понял все. Тряпичные косачи были крепко-накрепко прибиты к веткам большими гвоздями.

— Экое варварство! Твоя работа, Иван? — Алябьев тяжело опустился на снег. — Значит, ты сразу понял, куда я на лыжах бегал?

— Это ты, Федя, уже начинаешь профессиональные тайны выпытывать, — скромно улыбнулся Штуков. — Глубокая разведка. Или я не командир разведроты?

На лицо Алябьева набежала тень. Оба офицера неловко замолчали. Почувствовав их состояние, Катюша перехватила инициативу.

— Суду все ясно, товарищи старшие лейтенанты, — строго сказала она. — У Феди доброе сердце, он не может стрелять в беззащитную тварь. — Девушка приблизилась к Алябьеву, взяла за руку и нежно заглянула ему в глаза. Обветренные губы Штукова горько сжались. Он опустил голову.

— ...А у Вани душа истинного спортсмена, — продолжала Катюша, переходя от счастливого Алябьева к поникшему Штукову, — именно таким я представляю себе будущего мужа...

— Но, мальчики, — молвила дальше сибирячка, — замуж мне рано... Летом я заканчиваю вечернюю школу и уезжаю в Москву. В институт. Так что пожелайте мне...

— Ни пуха, — промямлил Алябьев.

— Ни пера, — еле слышно произнес Штуков.

Цена 10 коп.

72990